

Преклоняясь
перед истиной,
я вынужден сказать то,
что, из уважения
перед здравым
смыслом, говорить
не должен. Страница 3

АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВ

Гармония — мое второе имя

Роман

Анатолий Николаевич Андреев

Гармония – моё второе имя

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=3459535

Минск; 2008

Аннотация

«Гармония – мое второе имя» – десятый роман Анатолия Андреева. Его герой – писатель с философским складом ума Герман Романов, который принимает вечный вызов человека самому себе: познать себя, достигнув при этом не иллюзорной гармонии в отношениях с собой и миром. В произведении главными становятся не исторические события последних тридцати лет (они демонстративно даны фоном), а история души человека, история самопознания; социальное в жизни человека уступает место духовному, что подчеркивается полемическим жанровым определением романа: роман не для всех.

В известной степени перед нами филологический роман-исследование. Внутренняя интрига произведения (что отражено в его структуре) – полемика с Достоевским и, шире, полемика с наиболее популярными культурными мифами. Любовь, смерть, творчество, одиночество, мелкие и великие стороны человеческой природы – все это переплавлено в романе в некое «вещество гармонии». В тексте много парадоксального сопряжения ситуаций, придающих самым серьезным вещам горько-иронический оттенок. Великие сомнения становятся

инструментом познания, а познание становится инструментом обретения гармонии.

Сквозная тема произведений А. Андреева – познание и любовь. Чувство, которое испытывают герои, является космическим по своей природе. Вот почему мужчины и женщины живут в городе Минске, расположенном на планете Земля, которая представляет собой частичку Вселенной.

Содержание

Книга первая. Выше знамя!	5
1. Для кого восходит Солнце? Или: Сияй, сияй, моя звезда!	5
2. День Учителя	12
3. Урок для учителя	33
4. Слезинка ребенка	45
5. Змея в шоколаде	56
6. СПИД (SPEED)	60
7. АСПИД, или Небывалый мутант	67
Книга вторая. Зимний круг или Пучок историй	95
1. Карканье белой вороны	95
2. Стрельба по привязанным зайцам	101
3. История первая. У народа Берия не вызывал доверия	107
Конец ознакомительного фрагмента.	116

Анатолий Андреев

Гармония – моё второе имя

Роман не для всех

*Преклоняясь перед истиной, я вынужден
сказать то, что, из уважения перед здравым
смыслом, говорить не должен*

А.Н. Андреев

От автора

Без комментариев.

Книга первая. Выше знамя!

1. Для кого восходит Солнце?

Или: Сияй, сияй, моя звезда!

Ничего не случилось.

Просто он был молод, полон сил и потому счастлив, хотя и не понимал этого. Впереди, насколько хватало взгляда, простиралась долгая жизнь, в которой предстояло совершить нечто головокружительное.

Иначе – зачем жить?

Учитель русского языка и литературы Герман Львович Романов шел по проспекту Пушкина «на службу» – в школу № 17 им. Ф.М. Достоевского, где он работал третий месяц после окончания Белорусского государственного университета им. В.И. Ленина. На дворе стоял октябрь 1984 года. Минск накрыла скоротечная, и потому особенно впечатляющая, пора золотой осени.

Этот отрезок пути – по улице, названной именем комиссара Притыцкого, по прямой, упиравшейся в проспект Пушкина, с горы вниз и потом опять слегка в гору – занимал ровно девять минут. Романова неизменно встречало ликующее светило, дружески выкатывающее ему навстречу, и ближайшие девять минут казались ему вечным, нескончаемым праздником. Даже когда оставалось всего две минуты (от проспекта до школы – две минуты с небольшим: он давно разметил свой путь по минутам), которые приятно дробились на сто двадцать семь мерцающих звездным светом секунд, вечность оставалась вечностью: неприятное отодвигалось далеко вперед, за тот горизонт, которого еще и не видно из-за грязных крыш серых панельных девятиэтажек, где уйма уютных квартир лепились бочок к бочку плотными сотами.

Но обшарпанное крыльцо школы (семь ступенек), скрипучие высокие двери, тесный коридорчик, а вместе с ними ощущение гнетущей атмосферы, которая наваливалась неведомой тяжестью тумана, грубо обрывали границы вечности.

– Выше знамя советского спорта! – раздавался из невидимого рупора над ухом бодрый баритон физрука, Юрия Борисыча, явившегося в вестибюль словно ниоткуда (его отличительная легендарная особенность: материализоваться в любое время в любом месте школы, и тут же исчезнуть, будто дух) – откуда-то из своих обширных владений, которые начинались раздевалками, продолжались огромным спортивным залом, а заканчивались его персональным кабинетом, который начинался просторным диваном, а заканчивался шторами, за которыми начинались еще какие-то дебри. Изпод козырька бейсболки плотно блистали глаза сердцеда, горбатый нос заканчивался классическим, словно крылья реактивного истребителя, разлетом густых усов, под которыми всегда шевелилась улыбка, приоткрывающая перламутр снежно-белых зубов. Высокая спортивная фигура (легкая сутулость, как у борзой или гончей, срифмованная с линией носа, только подчеркивала суховатость и подтянутость стройного тела, всегда готового к подвигам), длинные мускулистые руки, всегда ровное оптимистическое настроение, слабый водочный перегар, перебиваемый запахом шикарного одеколона, – вот вам облик местного идола и кумира как учителей, так и учеников.

– Что-то нынче ты не весел. Что ты голову повесил? – интересовался Юрий Борисыч, который воспринимал уныние даже не как отсутствие ума (это само собой), а просто как смертный грех (хотя верил он, кажется, только в то, что лю-

ди – это неисправимо подлые существа; но это никогда не портило ему настроения; наоборот, всегда добавляло, потому что быть первым среди подлых было для него делом чести).

– Все в порядке, как обычно, – старался парировать саблевидной улыбкой дружеский выпад начинающий учитель Романов.

– Сила воли плюс характер, старина. Сейчас посмотришь на моих кобылок из 11 «Б», и у тебя все поднимется: и настроение, и голова. В смысле головка.

Он никогда не смеялся своим шуткам, только улыбался, предпочитая любоваться смехом других (преимущественно женщин, само собой).

– Виктория! Ко мне! – внезапно рявкнул он, не поворачивая головы.

Перед ним тотчас явилась ученица, судя по всему, 11 «Б».

– Почему одета не по форме? Где спортивное трико, обтягивающее мышцы подтянутых ягодиц? – продолжил он, по-прежнему глядя на Романова.

– Юрий Борисыч...

– Минута на размышление, раскаяние и исправление. Исчезни, милое видение.

– Юрий Борисыч, я не смогла...

– Получишь двойку, нимфа. Придешь отрабатывать. А я дорого возьму... На урок в таком виде, в брюках, не пущу. Вопросы есть?

Девушку будто ветром сдуло.

– Сила воли плюс характер. Самое главное – самому не нарушать простых правил, которые ты же и придумал. Тогда партия коммунистов, как и мафия, будут жить вечно. Сегодня День учителя. Объявляю сбор в подвале у военрука, георгиевского кавалера и доблестного ветерана. Выше знамя!

Романову показалось, что последние слова были произнесены усатым привидением, бесследно растворившемся в вестибюле. Баритон раздавался уже на спортивной площадке возле школы. Рядом никого не было.

Вдруг распахнулась дверь – и вместе с потоком света, озарившего вестибюль из коридорчика (дверь на улицу уже не закрывалась: опаздывающие валили лавиной), внесло Виту из 10 «Б», того самого, куда Романов должен был спешить на урок литературы.

– Здравствуй, Вита, – сказал Герман Львович, здороваясь первым, и отчего-то отвел глаза.

– Здравствуйте, – ответила Вита, не поднимая глаз и одергивая короткое школьное платьице.

Потом подошла директриса, Маргарита Петровна, и с укором поздоровалась первой.

– Вы не очень спешите сеять разумное, доброе, вечное. В каком классе у вас урок, Герман Львович?

– В 10 «Б».

– Какая тема, если не секрет?

– Достоевский. «Преступление и наказание».

– Обожаю Федора Михайловича. Это именно разумное, вечное. А вам по доброму вам завидую: перед вами начинается целый мир под названием душа человека! Дерзайте, юноша!

В этот момент прозвенел звонок на урок – на первый урок из предстоящих сегодня шести. Солнце погасло. Теперь эти шесть уроков казались вечной, нескончаемой, никому не нужной каторгой. В университете Романов толком так и понял, почему же время являлось свойством материи. Только здесь, в средней общеобразовательной школе, до него дошло: время становится материальным понятием, если занимаешься нелюбимым делом. Он стал ненавидеть время – но он научился и любить, и ценить время, то время, которое он находился вне стен школы.

Вне стен школы он робко пробовал писать свой первый рассказ, прорубая окно к своей свободе. Он назывался так: «Сияй, сияй, моя звезда!» Название было честным и правильным; но вот все остальное было какой-то чудовищной ложью, которая тем более терзала душу и задевала достоинство учителя русского языка и литературы Германа Львовича Романова, чем больше старался он не врать себе.

...Таким видится мне сегодня, почти четверть века спустя, начало моей сознательной жизни. За это время я превратился из человека в личность, я познал сладость и горечь жизни, я почти перестал бояться смерти. Я отравлен вкусом счастья, душа моя изнывает от любви к прекрасной женщи-

не. И от этой женщины я, кажется, ухожу. Если уже не ушел.

Жизнь научила меня: неразрешимых вопросов нет, есть люди, которым они *кажутся* неразрешимыми.

И я уже не уверен, что истина – всего любезнее на свете для меня. Мне начинает казаться, что есть вещи поважнее истины. Хотя...

Неужели это начало старости? Или – мудрости?

Великие сомнения настигли меня после того, как я добился в жизни всего, что считал самым главным, – настолько главным, что практически недостижимым.

Может, поэтому я пишу роман?

2. День Учителя

В подвале у военрука, подполковника Федулки Семена Кузьмича (кличка – Федулка), у которого было свежее, румяное лицо скопца и так не гармонировавшие с ним потухшие, близенько посаженные глазки, собирались учителя, в основном, конечно, женщины. Подвал, служивший одновременно классом для занятий по военной подготовке и тиром, напоминал место для пыток. С низкого бетонного потолка свисала на длинном проводе тускло горевшая голая лампочка, сообщавшая квадратному помещению колорит каземата.

Вообще практически у всех учителей были клички, данные учениками, но которыми за глаза не брезговали пользоваться и коллеги. Считается, что дети наблюдательны и остры на язычок; однако по наблюдениям Романова (который на третий день работы превратился в Германна, благо «Пиковую даму» проходили еще в пятом классе), клички в половине случаев были неоригинальны, безвкусны и поверхностны. Первым ввалился физик по кличке Пол Бабы Яги; за ним семенила его жена, физика, просто Баба Яга. За этим почтенным семейством, бывшим в школе непререкаемым авторитетом по части естественнонаучных знаний, шествовала белорусица, учитель белорусского языка и литературы, звали которую не иначе как Шкло Мастацкае (в переводе на русский – Стекло Художественное). Увидев в первый раз ее ши-

рокое лицо с блестящими глазами, каждый думал: наверное, что-то случилось, не исключено, что коммунизм победил на планете, и все люди стали братьями; познакомившись с ней поближе (на это требовалось минут семь, не больше), каждый неглупый человек уже знал, что главное в этой загадочной, бесконечно преданной изящной словесности женщине – чувство долга. Она исполняла его неистово и ежесекундно (вот откуда впечатление «что-то случилось»), поэтому всем становилось неловко в ее присутствии, словно она уличала всех в увиливании от исполнения возложенных на каждого обязательств. За Шклом тянулся Талгатик, то бишь Талгат Ахатович Нафигуллин, преподаватель музыки и пения, знаменитый тем, что на его уроках уважающие себя дети занимались чем угодно, но только не музыкой и пением. Класс ходил ходуном, мальчишки вышибали двери, швырялись стульями и ставили девочкам плохие оценки в журнал (при этом отличницы визжали особенно пронзительно), а Талгатик, баяна которого не было слышно за ревом воспитанников, мирно призывал всех спеть хором «То березка, то рябина» или «Я – Земля, я своих провожаю питомцев». Директриса (кстати, уважительно величаемая народом Маргарита или просто Марго) делала ему последнее 325 замечание в году, и тогда неунывающий Талгатик превращался в грустящий Ля Минор. Но только до начала следующего урока...

Между прочим, каждый урок заканчивался неизменно: стоило прозвенеть звонку, как хор мальчиков-головорезов

взбирался на уцелевшие стулья и буйно затягивал (выгрызая себе тем самым «отлично» за четверть):

Я – Земля, я своих провожаю питомцев,
Сыновей, дочерей.
Долетайте до самого Солнца
И домой возвращайтесь скорей!

Раз в году, а именно в день рождения Талгатика, счастливо совпавший с днем рождения Сталина (к несчастью, об этом с некоторых пор надо было забыть), трогательно вспоминали об этой традиции: при желании можно было считать, что учитель все же добился от питомцев результата... Пусть скромного, однако же добился. Результата. Ведь школа и результат – понятия близкородственные.

Федулка проворно вскрыл сейфы – и на свет явились тарелки, вилки, ложечки, стаканчики. Посуда, идеально чистая, была разнокалиберной и разномастной, очевидно, подбиравшаяся от случая к случаю. Из темного угла из чьих-то рук, унизанных кольцами, белым саваном взметнулась скатерть (свежая, тронутая корочкой крахмала), и сдвинутые столы, образовавшие банкетный прямоугольник, смотрелись уже вполне неофициально.

Учительницы галдели в подвале, словно стая обезумевших галок, слетевшихся на последний в мире шабаш. (Романов уже знал, что образцовые учителя, собранные в толпу, ведут себя, словно дети уроках Талгатика; масса учителей –

куда более недисциплинированная и неуправляемая публика по сравнению даже с самыми хулиганистыми классами; почему, интересно?) Однако при этом посуда расставлялась быстро и аккуратно, практически под линейку. Казалось, незримый кто-то (из темного угла?) руководит галдящим хаосом.

Вскоре выяснилось, что чудес не бывает даже в школе.

– Герман Львович, сбегайте, дружочек, за Юрием Борисычем, что-то он задерживается, а начинать без него не хотелось бы, – ласково распорядилась над ухом Романова директриса, даже не наклоняя корпуса. При этом ее слова были слышны только тому, кому они предназначались. Герман поднял голову. Маргарита находилась уже в другом конце помещения, ласково поддерживая озабоченного завуча Аленушку под локоток. Губы матроны беззвучно шевелились (очевидно, она о чем-то спрашивала), а глаза ободряюще улыбались Романову.

Ах, да, завуч Аленушка, она же Изабелла Петровна, она же ИП... Иногда просто – Иза. Представьте себе двуногую Тортиллу в огромных очках в черепаховой оправе. Она задавала всем подряд изумительно дурацкие вопросы, ставившие собеседника если не в тупик, то в неловкое положение; знающие люди отвечали любым вопросом на вопрос – и Аленушка буквально «тормозила», идиотски молчала, как последняя двоечница, заморожено вглядываясь в собеседника, словно в зеркало, в котором проступало ее собствен-

ное изображение, поразившее ее до бесконечности. Руки при этом она разводила в стороны, и они слабо шевелились – ни дать ни взять черепаший лапки.

– Сколько это может продолжаться, Герман Львович? – спрашивала она, заставляя молодого учителя оправдываться неизвестно в чем. Так продолжалось первого и второго сентября на всех без исключения школьных переменах. Уже третьего сентября Герман Львович по наущению Юрия Борисыча поставил вопрос ребром:

– А почему детей надо сажать головками вниз?

Аленушка «поплыла», зашевелив лапками.

Почему Аленушка?

А почему бы и нет?

Возможно потому, что ИП напоминала безобидную шокированную сестрицу Аленушку, на глазах которой непослушный братец Иванушка, испивший колдовской водицы, превращался в козленочка.

Романову нравилось разгадывать людей, а клички и прозвища характеризовали как тех, кому давали новое имя, так и тех, кто имя давал.

Герман Львович нашел физрука в спортивном зале, на боевом посту, где же еще.

Очевидно, что-то происходило возле стены, вдоль которой были расставлены широкие и низкие скамейки – места для штрафников и болельщиков. Герман подошел поближе. Юрий Борисыч, разумеется, поприветствовал его; но на

сей раз вместо фирменных слоганов «сила воли плюс характер» или «выше знамя!», которыми Борисыч обычно начинал и завершал общение, состоявшее из его темпераментных и оптимистических поучений, прозвучало что-то невразумительное: «Зовите меня просто Учитель, сэр».

Неужели происходило нечто такое, что заставляло волноваться самого Борисыча?

Действительно, творилось нечто из ряда вон выходящее, однако такое из ряда вон, к которому все привыкли. Это было педагогическое шоу Мастера, то бишь Учителя, которым он время от времен баловал учеников. Учителя на подобные мероприятия принципиально не допускались, хотя о нем, конечно, все знали. И тот факт, что Германа как бы не заметили, следовало расценивать как акт высшего доверия: это было своего рода посвящение в приближенные. Герман шуточно раскланялся; Учитель даже не улыбнулся в ответ.

На скамейке животом вниз был распластан или, точнее, распят Костя Лаврик по прозвищу Гудини. Однажды Лаврик, увидев перед собой словно выросшего из-под земли Учителя (вокруг – контролируемое пространство, зайцу спрятаться негде: откуда?), поперхнулся сигаретой, спрятал ее в рот и тут же проглотил, зажженную, от греха подальше. Учитель подождал, чем завершится сей небывалый трюк, заботливо приподнял несвежую рубашку, обнажив шуплое тельце: не прожгла ли сигарета живот? – потом в восхищении пожал живому Лаврику руку, обозвал его Гудини (Лав-

рик обиделся), разъяснил, чем занимается этот маг и кудесник (Лаврик подобрел), и пообещал в ближайшем будущем выпороть его так, что тот выблюет проглоченную сигарету.

И вот над худосочным Гудини возвышался Учитель с неправдоподобно огромным кедом в правой руке. Где он раздобыл такой эксклюзивный кед с ноги великана – 50 или 60 размера, литая резиновая подошва, напоминающая гусеницу легендарного танка Т-34, – было очередной загадкой, которых немало роилось вокруг Учителя. Вообще загадочность – была главная составляющая его репутации, над которой (загадочностью) он постоянно работал.

Гудини ждало наказание, на которое он сам, отчасти, напросился. Все ученики знали, что курить на территории школы в поле зрения всевидящего Учителя – категорически возбранялось. Это было неписаное правило, нарушить которое – означало бросить вызов главному человеку в школе. Борисыч, не признававший писаных правил, как то: истерических выволочек Марго или, того хуже, узаконенных жестов отчаяния – вызовов полупьяных родителей в школу, – по-своему наказывал строптивых: он, зафиксировав правонарушение, энергично выбрасывал пальцы правой руки вверх, словно Рефери, что означало количество «горячих» (здесь все зависело от дерзости, с которой обставлялось преступление, возраста провинившегося, его репутации в школьном сообществе и проч.), и сам же приводил приговор в исполнение. Количество «горячих», приходящихся

строго на «пятую точку», не превышало трех, ибо пять, по словам Учителя, было смертельной дозой. Каждый последующий удар был сильнее предыдущего, по нарастающей: законы драматургии и в наказании никто не отменял.

Через минуту после его шикарного жеста вся школа уже гудела. Все знали, что в тот же день после шестого урока виновного ждет линчевание чудовищным кедищем.

Это была гениальная педагогическая метода еще той, классической деспотической школы воспитания. Во-первых, игра в казнь делала Учителя-палача своим в глазах местной шпаны. Во-вторых, успешно выдержавший наказание начал пользоваться авторитетом в школе, поэтому всегда находились такие, кто не прочь был испытать себя и проверить при этом бдительность Учителя. В-третьих, у провинившегося навсегда отбивалось желание когда-либо лечь под кед: Учитель бил сильно, с оттяжкой, с улыбочкой и никогда не оставлял следов. В-четвертых, если находились такие, кто малодушно уклонялся от возмездия, их ждало еще более страшное: безжалостная и унижительная трепка со стороны поротых одноклассников или головорезов, наподобие Гудини. Принцип «битый небитого везет» торжествовал во всей своей первобытной красе. Все как один принимали сторону Учителя.

В результате в школе не курили даже те, кто после уроков уже выпивал. За пределами школьной территории Учитель мог сам услужливо поднести огоньку, безо всяких нотаций

щелкнув элегантною зажигалочкой. Это был высший шик – прикурить от импортной зажигалки Учителя. Но этой чести достаивался только тот, кто выдерживал испытания кедом и тем самым становился тайным сообщником Учителя.

– Курить следует только дома, в присутствии дорогих родителей, выпуская дым прямо им в лицо, – поучал Учитель, подготавливая кед к экзекуции – то есть, любовно оглаживая его со всех сторон, демонстрируя тем самым устрашающую мощь орудия пытки. – Здесь парадом команду я. Вопросы есть? Вопросов нет. Клиент готов?

– Готов, – хрипло ответил Гудини.

Неуловимым движением, без размаха, Борисыч впарил первый «горячий» из двух назначенных. Гудини впился зубами в собственную руку, но молчал. Школа напряженно ждала: выдержит Гудини или нет. Дети многое могли простить герою, но слабости во время экзекуции не простили бы никогда. Те, кто уже подвергался пытке, были особенно строгими судьями. Все внимательно следили: появятся слезы или нет.

Второй «горячий» лег с плотной оттяжкой: Гудини прихлопнули, будто муху. Теперь всех интересовало только одно: жив Гудини или уже нет.

– Учитель, второй раз вы его пожалели, – сказал Пенициллин, соперник и конкурент Гудини, прошедший огонь, воду и пару медных труб, – то есть ложившийся под кед дважды, причем второй раз на спор. Он был влюблен в Вику, поэтому

вполне мог быть необъективен к учителю, который был явно необъективен к Вике. Вика стояла в толпе болельщиков и улыбалась своей знаменитой улыбкой, обещающей что-то такое, что заставляло мужчин прищуривать глаза и глотать слюну.

Усмотреть жалость в действиях палача – это серьезное обвинение, поэтому Учитель не мог оставить эту наглую реплику без ответа.

– Пеня, готовь жопу. Если ты выдержишь три таких удара, будешь курить прямо в спортзале, у меня под носом, два месяца. Сигареты покупать тебе буду я. Будешь пользоваться моей зажигалкой, которую я тебе подарю.

Толпа детей затаила дыхание. Пари было нешуточным, ставки были велики. Пенициллин мог стать супергероем, легендой на все времена. Вика могла стать свидетелем рождения легенды. Но он, как и все здесь присутствовавшие, усвоил еще с первого класса: Учитель не проигрывает. Следовательно, удары будут такими, что запросто можно наложить в штаны, и вместо бирки «герой» на тебя навесят – и с не меньшим удовольствием – табличку «Пеня-засранец», и тоже на все времена. Герой или посмешище? Риск, равно как и искушение бессмертием, тоже был велик.

Два раза своих предложений Учитель не повторял. И неизвестно, повторит ли когда-нибудь кому-нибудь что-либо подобное. Учитель был загадочен и непредсказуем.

Пенициллин изобразил лицом, что не услышал ничего

особенного. Всем стало ясно: у Пени кишка тонка. Учитель вновь оказался на высоте. Вика улыбнулась.

Все опять сосредоточились на Гудини, которому давно уже пора было вставать, но который делал вид, что отдыхает после скучной прогулки по Парижу.

– Вставай, фокусник. Минздрав предупреждает: курение становится причиной раковых заболеваний, а зажженные сигареты желательно не глотать. Приходится вдалбливать вам это через задницу.

Гудини не шевелился.

– Считаю до трех, – сказал Учитель с тихой злостью. – Если не встанешь, схлопочешь третий «горячий». Раз...

Гудини приподнялся со скамейки. Рот у него был в крови, рука прокушена, мутные глаза никак не могли сфокусироваться.

– Молодца, пацан. Жопа заживет, а характер останется.

Последняя фраза предназначалась, скорее, слушателям, Гудини вряд ли что-либо соображал. Он еще неделю после своего подвига будет показывать всем, собравшимся вечером покурить, прокушенную собственными зубами руку, а «молодца» из уст Учителя будет носить, как медаль. В течение месяца на территории школы слово «сигареты» старшеклассниками будет произноситься шепотом и с глотанием гласных.

– Девочки, мальчики, разбежались и забыли о том, что видели. Но навсегда сохраните это в своем сердце. Выше зна-

мя!

– До свидания, Учитель!

Дети не скрывали своего обожания, а Учитель, предсказуемо ставший героем дня, отыскал глазами Вику и смотрел на нее до тех пор, пока она не встретила с ним глазами и улыбнулась.

– Сила воли плюс характер, Германн. Ты думаешь, эту шпану можно укротить чем-нибудь еще? Да только с броневичка! Свинцовым веером! Иосиф Виссарионович, бессмертный Йосик, наследник великого Ульянова-Ленина, в чем-то глубоко прав. Бей своих, чтобы чужие боялись. Мне наплевать, курят ученики или нет. Здесь дело не в табаке, а в принципе. Мои приказания должны выполняться, и тогда я работаю шепотом, засучив рукава белой манишки. Маргарита орет и трескается на части – и толку никакого. Я уйду из этой школы – и все развалится. Все в этой школе держится на моем кеде, вот на этом куске резины. Усек?

– Может, все и так. Только... Гуманизма хотелось бы побольше. А крови поменьше.

– Что-с, как говаривал милостивый государь Достоевский? Ась? Запомни: ты в зверинце, укротить который можно только силой. Или они тебя сожрут. Они меня просят, сами просят, заметь, умоляют, и я их бью – потому что если их не бить, они сожрут сами себя.

– Получается, вы благодетель.

– Получатся, я им нужен. Половина тех, кого ты видел се-

годня в спортзале, через пару лет будут зону топтать. Чтобы этого не случилось, их надо бить святым кулаком по ока-
янной шее. Регулярно. Но силой надо пользоваться с умом. Надо бить так, чтобы они тебе еще и руки целовали. Это уже
высшее мастерство, однако. Учись у Йосика. А начинать на-
до... Короче, бей в живот, делай ситуацию один на один – и
бей. И без свидетелей, и без следов. Живот: самое удобное
место. Говорю как профессионал. Тогда все будет все ши-
то-крыто. Но если ударишь при свидетелях или по роже, зо-
ну топтать будешь ты... Понял? Вот и вся педагогика. А рас-
суждать, вежливо стучаться в их маленькие горячие сердца
и затуманенные головки... Не смейся меня. Я хочу тебя ува-
жать.

– Какая-то пессимистическая педагогика получается.

– Реалистическая! – Юрий Борисыч, обращаясь к Герма-
ну, поднял указательный палец правой руки вверх (получи-
лось – один «горячий») и сам рассмеялся своей шутке.

– Спасибо за урок, Учитель.

Тот сделал вид, что не понял шутки.

А может, он ее и в самом деле не понял. Он просто не
принимал шутки на эту святую для него тему.

Они спустились в подвал и были встречены ревом востор-
га и аплодисментами, словно мегазвезды или космонавты,
долетевшие до самого Солнца и, неопалимые, вдруг пред-
ставшие пред землянами.

– Вот вы где!

– А мы вас заждались!

– Мужчины у нас на вес золота!

– Юрочка!

Юрий Борисыч был явно в своей стихии. Атмосфера всеобщего обожания для мессии, спустившегося в каземат, – вот что по-настоящему волновало его кровь.

– Талгат Ибрагимыч! Изобрази «Камаринскую», – раскатисто прогудел Учитель, вальяжно разваливаясь рядом с Маргаритой во главе стола.

– Я не Ибрагимыч, я Ахатович, – мирно отбивался музыкант.

– Что-с? Ах, да, Ибрагимыч у нас Остап. Я тебя перепутал с Бендером. Кстати, Германн, единственная книга, которую стоит читать (и то – на сон грядущий) – «Двенадцать стульев». Рекомендую. Все стальное – хлам. В том числе – «Пиковая дама».

– А Достоевский? – капризно взмолилась Маргарита.

– У Достоевского хорош только «Золотой теленок».

– Это же Ильф, Ильф! – заржало Шкло Мастацкае, впервые, кажется, проявив энтузиазм вовсе не гражданского толка.

– Ильф, а также маэстро Петров! – уточнил Учитель. – Компаньоны – это святое. Кстати, а как они барыши делили? Напополам, что ли? Никто не знает?

Кажется, это действительно никого не волновало.

– Ну, тогда давай польку «Бабочку», Талгатик. С перебо-

ром. Эх, хрустнем! Сила воли плюс характер!

– Нет, товарищи. Сначала позвольте мне провозгласить тост, – слово сама себе предоставила Марго.

На минуту воцарилась тишина.

– Товарищи!

Стало так тихо, что было слышно, как нервно потрескивает вольфрамовая нить в лампочке.

– В этот знаменательный, великий для нас день я предлагаю выпить за учителей, за наставника, – за Учителя, так сказать, с большой буквы. Все, здесь сидящие, отдали или готовы отдать здоровье и саму жизнь школе, детям, самому светлomu, что есть в жизни. Мы заслужили этот праздник. Думаю, Федор Михайлович Достоевский, именем которого названа наша школа, – и это предмет нашей гордости! – порадовался бы, увидев, как мы каждодневно, не жалея сил и нервов, воплощаем его гуманистические идеи в жизнь. Слезинка ребенка, ставшая для него символом страдания, – это и для нас святое. Мы делаем и впредь будем делать все, чтобы дети не плакали, а смеялись и радовались жизни. За нас! За вас, дорогие мои! За ваш подвижнический труд и великое педагогическое мастерство!

В глазах у Учителя блеснула влажная поволока.

Романов растерянно оглянулся и увидел, что его окружают сплошь растроганные лица. Испытывая мучительное чувство неловкости за Маргариту и, как ему казалось, за обманутых в лучших чувствах наставников, он не верил собствен-

ным глазам и не знал, как реагировать на пышную и очевидно фальшивую тронную речь.

Но Маргарита сама уже прикладывала платок к глазам и к носу.

К счастью, сентиментальная пауза, позволившая проявиться коллективной слабости, была прервана осевшим баритоном:

– Ура!

– Ура!! – вздрогнул каземат.

Праздник рванул с места в карьер. Талгатик сидел за банном, словно прячась от народа, и было видно, как крутыми волнами гуляют меха; но музыки не было слышно: ее заглушал смех, визг и особый, плотный гул, издаваемый ро-ем, проклиная в душе дисциплину и порядок. Всем хотелось разрядиться и расслабиться. Германа не переставало изумлять, как точно учителя копируют своих учеников. Чему же тогда они их учат?

Кто учителя, кто ученики?

«Разве это разумные люди? Нет, они сделаны из какого-то неразумного теста. Весь мир сошел с ума, весь мир», – крутилось у него в голове, которую он ощущал, как сорвавшийся с оси глобус. Белый оскал Учителя и его блестящие очи с поволокой примелькались настолько, что в глазах начинало рябить какими-то алюминиевыми брызгами.

– Играй, гормон! Выше знамя! – время от времени бросал Борисыч клич, похожий на тост, в массы. Его зонги охотно

поддерживали: звон рюмок и стаканов прокатывался над испачканной скатертью добрым цунами.

«В конце концов, чем я лучше их? Ничем. Выше знамя? Выше!»

В этот момент на его руку прохладным спрутом легли длинные пальцы в крупных кольцах (со вкусом подобранных или безвкусно нацепленных? Сразу не скажешь). Он поднял глаза. Перед ним сидела учительница английского языка Элеонора, дай Бог памяти...

– Просто Элеонора.

– Герман. В конце одна буква «н». Ни в коем случае не две.

– Я уже слышана о вас.

– Вы хорошо загорели. Отдыхали с мужем на юге?

– А вы наблюдательны. И любопытны. Мне это нравится. Я отдыхала одна. У нас с мужем такие отношения, что я могу себе это позволить.

– У вас настолько доверительные отношения, что он рискует отпускать такую роскошную женщину одну?

– Скажем так: он не изволит обременять себя чувством ревности по отношению ко мне. А меня это вполне устраивает. Наш брак держится не на чувствах, а на привычке испытывать отсутствие чувств.

– Неужели это перспектива всех браков?

– Увы, не всех. Только самых удачных. А вы собираетесь жениться?

– Возможно. Подумываю...

– Тогда вам самое время пообщаться с опытной женщиной.

Глубокое декольте, обнажающее пышную, тронутую морщинами загоревшую грудь, свежее лицо – не молодое, а именно свежее, короткая стрижка, опять же, молодящая ее. Женщина была в годах, где-то в возрасте Учителя, мимо внимания которого, кстати, не проскользнул факт интимного диалога. Он в ту же минуту придвинулся и вырезал своим баритоном на фоне всеобщего гула:

– Лера, ты в своем репертуаре: чем старше становишься – тем моложе у тебя поклонники. Хочешь, я тебя представлю Гудини?

– Юра, не нарывайся на грубость. Щупай свою Викторию из 11 «Б» и не лезь в чужие дела. Только смотри, не испугай девочку.

– Германн, один совет: Лера любит, чтобы она всегда была сверху. Поэтому сразу ложись на спину. Но начнет она с минета: великая искусница. С ней переспишь и чувствуешь, что тебя трахнули, как последнюю б...

Герман внутренне сжался, ожидая скандала. Но ничуть не бывало: Элеонора засмеялась, потрепав Учителя по щеке.

– Я еще и сзади люблю, разве ты забыл? Но только не с тобой. Боже упаси! Не думаю, чтобы...

Она понизила голос, и дальше Герман разобрал только одно слово: Маргарита.

– Девки спорили в метро... – огрызнулся Учитель.

– Больше не значит лучше, – очевидно, не осталась в долгу

Элеонора.

После обмена любезностями Учитель удалился, а Элеонора предложила выпить за внезапно вспыхивающее чувство между мужчиной и женщиной, яркое, похожее на любовь, которое, возможно, вскоре пройдет, однако жизнь наша настолько коротка, что и это блеснувшее чувство оставит свой след. Надо жить красиво, ибо красота, как выразился Достоевский, спасет мир... Больше добра и ласки – меньше агрессии, ревности. Разве нет?

Это был даже не тост, а инструкция, сопровождаемая пожатием руки и короткими поглаживаниями. Романов не имел ничего против тоста-инструкции; он возражал, во-первых, против «чувства между мужчиной и женщиной, яркого, похожего на любовь», а во-вторых – против того, что это глупое слащавое изречение о красоте приписывают Достоевскому. Герман испытывал чувство другого рода: его собирались использовать, грубо и откровенно, а он отчего-то был не против. На него нахлынуло сложное переживание: смесь отчаяния с равнодушием.

Они выпили, и Романов потерял ощущение пространства и времени. Элеонора подливала ему водку и шептала:

– Сейчас многие уйдут: Баба Яга со своей неаппетитной, поверь мне, половинкой, рассосутся Шкло, Талгатик... Останутся только избранные. Мы ведь останемся, не правда

ли?

Герман решительно кивнул головой.

– Сходим в спортзал, заглянем к Юрику в кабинет; у него есть диван, скрипучий, как Маргарита, но жить, и жить регулярно, можно. Сходим?

Он кивнул головой так, что она у него чуть не отвалилась.

– Хороший мальчик, хороший. Ты ведь поцелуешь свою Леру? Уж полночь близится...

Как они выбрались из подвала, Герман не помнил. Полная грудь Элеоноры и ее аккуратные, но жадные, ласки почему-то не оставили сильного впечатления. Но вот сцена в кабинете Учителя отчего-то врезалась в память навсегда.

Юрий Борисыч, хищно оскалившись, по-волчьи припал пахом к рыхлому белому заду Маргариты, сотрясая ее тело мощными толчками. Она, оперевшись руками о спинку кресла и выгнув спину (поза непременно должна быть красивой, это каждая женщина знает от рождения; чем красивее – тем развратнее), крупно вздрагивала и всхлипывала; грудь у нее болталась жалкими тряпичными комочками, живот отвис большими жирными складками. Марго повернула искаженное болью лицо, блудливо утонувшее в растрепанных волосах, и они встретились глазами.

«В этот знаменательный, великий для нас день», – крутилось в голове у бедного Германа.

...В эту ночь, когда отмечали День учителя, у меня пропала вера во что бы то ни было. Мне казалось, что все вокруг

нагло врут, не стесняясь друг друга. Но мотивы этого зажигательного коллективного безумия были мне не ясны. Мне казалось, что все от меня скрывают что-то очень простое, но крайне важное.

Самым же большим лжецом, лгущим себе так, что хотелось уважать себя до слез, представлялся мне Федор Михайлович Достоевский.

Я почувствовал себя безумно одиноким на празднике жизни.

3. Урок для учителя

На следующее утро Герман, вопреки обыкновению, почти опоздал на работу: вошел в вестибюль со звонком. Видеть коллег в учительской не хотелось, но за журналом надо было забежать.

Маргарита Петровна уже была на посту и с укором поздоровалась первой. На спортплощадке бодро рокотал баритон.

Ничего не случилось.

– Где положенное возрасту рвение, Герман Львович? Праздник – это не повод расслабиться до неприличия; это повод настроиться на работу.

Очевидно, ему давали понять, что увиденное им вчера не может быть поводом для сближения, для сколько-нибудь чувствительного разрыва дистанции между директором и учителем. Он посмотрел на ее грудь: она казалась большой и упругой. пышная прическа идеально уложена, прядь к пряди. Разница между вечером и утром была впечатляющей.

– Маргарита Петровна, разрешите обратиться.

Перед ними стоял Юрий Борисыч – сама сосредоточенность, свежесбрита, благоухающая своим фирменным одеколоном и дышащая несколько в сторону. Герману Львовичу он сухо протянул руку, и даже не посмотрел на него.

– Слушаю вас, – сказала Маргарита Петровна.

– Докладываю: Лаврик Константин отказывается переоде-

ваться в спортивную форму и работать на уроке. Я ставлю ему неявку. С аттестацией за четверть у него будут большие проблемы. Придется ему отрабатывать: будет помогать мне проводить уроки в младших классах. Вместе с Викторией.

– Я все поняла. Лаврика ко мне. Герман Львович, берите пример, – показала она на то место, где еще секунду назад с достоинством стоял Учитель в позе подчинения.

Маргарита Петровна смотрела на него ясным взором, не отводя глаз.

– Я все понял. Разрешите приступить к уроку?

Она позволила себе что-то вроде улыбки.

– И впредь не опаздывайте.

Он уже развернулся, направляясь к лестнице, когда она, смягчив интонацию, по-матерински поинтересовалась:

– Утром было тяжело? То-то же. Учитель – это сила воли. Вам понравился вчера наш праздник?

– К стыду своему, я плохо помню то, что было ближе к полуночи. Вторая половина праздника смазалась. Кажется, я был пьян.

Маргарите ответ явно понравился.

– Но выглядите вы молодцом. Мы сделали вынужденную перестановку. Вы пойдете на замену в 10 «Б». Физик, между нами говоря, после вчерашнего просто не в состоянии. Я отправила его домой. Выручайте, Герман Львович. Скажите ученикам, что я вас задержала.

Урок начался с того, что Пашка Кузнечик по кличке Гусь,

злобный доходяга, влюбленный в Машу и потому ревновавший ее к Германну за тот интерес, который девушка с полной грудью проявляла литературе, заблеял нудным козлетоном:

– А мы не хотим слушать басни о проститутке Сонечке, это аморально; мы хотим Пол Баба Яги. Всего только Пол Бабы. Мне в институт поступать, мне нужна физика с математикой. Я правило буравчика готовил. Где Пол Бабы?

– Павел, успокойся, – невозмутимо парировал Герман Львович. – Будет вам физика с математикой. Но не сейчас. Маргарита Петровна попросила меня заменить физику. Приношу извинения за опоздание: она задержала меня в своем кабинете.

– А мы думали, что вы задержались потому, что провожали домой Элеонору Георгиевну, – брякнул Пашка как ни в чем не бывало.

Герман густо залился краской от неожиданности; кроме того, краснеть действительно было за что. Особенно неприятно было то, что Вита смотрела на него во все глаза, будто выискивая на лице его следы лжи. Надо было достойно выбираться из ситуации.

– Павел, не выдумывай ерунды. И не хами.

– А я не хамлю. Вас видели ночью сначала возле школы, а потом возле ее подъезда. Я в том же самом доме живу. Скажете, вас там не было? Да вы не бойтесь, я не собираюсь рассказывать, чем вы там занимались...

Очевидно, Гусь уже успел растрезвонить о пикантной сен-

сации в деталях и в лицах, не жалея красок, поэтому классный бомонд, группировавшийся вокруг смуглой Майки, с удовольствием реагировал на дуэль в меру неприличным смешком.

– А чем мы, собственно, занимались?

– Герман Львович, ведь я могу и повторить в подробностях, мне не трудно. Мы все живем так скучно, а у вас все было так ярко...

– Ты словно пугаешь меня. Я не собираюсь оправдываться в том, что поздним вечером проводил коллегу домой; скорее, мне было бы стыдно, если бы я этого не сделал. А на твоём месте я бы подумал о том, чем может обернуться ситуация для выпускника, распускающего грязные сплетни про учителей. За это придется отвечать.

Гусь повернулся лицом к классу – длинная шея, плоский нос – и тихо прогнусавил что-то такое, от чего все мальчишки, считающие себя мужчинами, сочли нужным громко заржать. Майка улыбалась, с интересом наблюдая за схваткой, Вита опустила глаза.

Настала минута, требующая решительных действий. Сейчас неважно, прав ты был или нет; важно было, как ты себя поведешь.

– Павел Кузнечик, выйди из класса, – тихо, чтобы предать голосу уверенности, сказал Герман Львович.

– Не выйду, – выкрикнул Гусь.

– Выйдешь. Ты срываешь урок. У меня нет выбора, я вы-

нужден отправить тебя на свидание к Маргарите Петровне.

– Пошли, подумаешь. Я под присягой все повторяю.

Они вышли в пустой коридор. Во всех классах шли занятия, почти в каждом из них стояла школьная рабочая тишина – за исключением кабинета напротив, где Талгатик уныло, будто муэдзин, уговаривал детей, которым следовало сплотиться в хор, спеть что-нибудь про родину из Кабалевского. Дети веселились от души, стучали крышками парт, распевая про зелененького кузнечика, который сидел в траве; сложной полифонией в тему о кузнечике вплеталась баллада про Мурку.

Неожиданно для самого себя Германн развернулся и всадил плотно сжатым левым кулаком Гусю в область печени. Удар получился резким, коротким, Германн вложился в него всем корпусом. Гусь отлетел к стене, схватился за живот и сполз на пол, растопырив ноги, как подбитый кузнечик.

– Что ты там видел, урод? Что ты мог разглядеть в темном подъезде, мразь липкая?

Ножом блеснули глаза Германна, в которых горели собачьи ярость и ненависть. Теперь эффект неожиданности сработал против Пашки. Он насмерть перепугался: язык улицы, который сидел у него в печенках, заставил его съежиться и привычно искать аргументы слабости против не рассуждающей силы.

– Это не я видел, это мне Пенициллин рассказал.

– Запомни: брешет твой вшивый Пеня. А ты засунь бу-

равчик себе в одно место и сиди смирно. Кто вчера напустил дыму в спортзал через шланг? Юрий Борисыч уже ищет того, кто это сделал. Может, подсказать ему, а, зелененький? Я ведь видел это собственными глазами. Пару «горячих» охладят твой пыл.

Герман, конечно, не видел никакого дыма; Гуся «сдал» Учителю (который и поделился информацией с Германом) все тот же Пенициллин, Пеня, получавший, кажется, особенное удовольствие от зрелища казни. Но эта новость поразительно отрезвила Кузнечика.

– Сейчас извинишься за клевету перед всем классом – или пойдешь на ковер к Маргарите. Элеонора...

– Георгиевна.

– Да, Георгиевна, я думаю, еще к родителям твоим зайдет.

Выбирай.

– Я извинюсь.

– Громко, четко, передо мной и перед Элеонорой Георгиевной.

– Я извинюсь.

Герман потушил пламя в глазах, вошел в класс и, как ни в чем не бывало, сказал:

– Сонечка – проститутка только формально, надеюсь это всем понятно? На самом деле она принимает страдания за униженных и оскорбленных. Я хочу, чтобы мы разобрали с вами сегодня такой момент: отчего Раскольников признался в своем преступлении прежде всего ей? Это во-первых. И

во-вторых: в чем, собственно состояло преступление Родиона Романовича? Уголовный аспект преступления ясен. Но только ли в нем дело? Не совершил ли Родион Романович еще и философского преступления?

На мгновение зависла тишина. Маша подняла руку, встала из-за парты и детским голосом, заставлявшим отчего-то обращать внимание на ее грудь, спросила:

– А Достоевский может научить нас тому, как стать счастливыми?

В ту же секунду в класс ввалился с действительно зеленоватым лицом Павел Кузнечик и громким голосом покаянно произнес:

– Это я виноват.

– В чем ты виноват, Павел?

Теперь Герман Львович без колебаний брал реванш. Грубо, цинично, сполна.

– В том, что оклеветал. Вас и Элеонору Георгиевну. Приношу свои извинения.

– И все же: расскажи, что ты видел. Народ изнывает от любопытства.

– Я ничего не видел. Это мне Пенициллин лапшу на уши навешал.

Класс, который еще несколько минут назад готов был насладиться унижением Германа Львовича, теперь дружно загудел против раздавленного Гуся.

Герману расхотелось вести урок дальше. И дело было во-

все не в Гусе. Что Гусь? Всего лишь деморализованное забитое существо, которое, кстати, и вины-то за собой никакой не чувствовало. Его застукали на месте преступления – он и лапки кверху; а не застукали – ходил бы гусем. Это тебе не Раскольников...

Перед Германом на задних лапах сидела молодая энергичная стая, которую укрощать надо было не рассуждениями, а волей, проистекавшей из абсолютной уверенности в своей правоте. Они верят только твоему чувству правоты. А вот с этим у Германа, кажется, намечались большие проблемы. Чему их учить? Тому, что вина, по Достоевскому, искупляется страданием? Тому, что счастья, не исключено, вовсе нет, а есть покой и, возможно, воля?

Тут же растеряешь весь свой авторитет, который три месяца зарабатывал по крупичкам.

В этот момент Вита встала и выскочила из класса. Глаза ее красиво были унижены бриллиантами слезинок.

– Что случилось? – растерянно спросил Герман Львович.

– Как будто вы не знаете, – пробубнил Пашка. – Она влюблена в вас, вот и переживает. Я правду говорю, не смотрите на меня так; спросите любого, это всем известно.

– Гусь, ты хоть что-нибудь, хоть раз в жизни слышал о человеческом достоинстве?

– А что Гусь? Я же извинился!

– Ты скотина, Гусь, и сильно подозреваю, что это от рождения и навечно. И о Достоевском я с тобой не буду говорить

никогда. Даже если меня завтра уволят.

Было видно, что Пашка Кузнечик просто не понимает причин гнева учителя русского языка и литературы. Он сидел, опустив голову и поглаживая правую сторону живота.

Герману стало тошно.

На перемене он вошел в кабинет к Учителю и сказал:

– Я только что избил Пашку Кузнечика. По всем правилам неформальной педагогики.

– Свидетелей не было?

– Нет.

– Внешних следов не осталось?

– Нет. Я удачно тыкнул ему в живот.

– Мои поздравления, сэр. Кажется, я в тебе не ошибся.

– Но остались внутренние следы.

– Ты о своей так некстати потревоженной совести? Все вздор. Сила воли плюс характер. Муки душевные прекратятся ровно через три дня. Проверено. Это как невинность потерять. А этот дебил примет еще пару «тепленьких» на то место, которым он привык думать, и ему окончательно полегчает. Что ни говори, твое посвящение в педагоги надо бы отметить. Я выпишу Талгатику увольнительную, он слетает за «Рислингом». Гений организации застолья. Нет равных, потому и держим в школе. Одна нога здесь, другая там, где надо. Все принесет, закусточку организует оптимальную, посуду уберет, перемоеет. Нет равных. Кстати, Элеонора попросила после «Рислинга» оставить тебя с ней наедине. Чего не

сделаешь для любимой некогда женщины! Да, Герман, слышал новость? Говорят, Брежнев то ли умер, то ли при смерти.

Я пожал плечами.

Учитель, сутулясь, нависал над столом, чем-то неуловимо напоминая отца народов Джугашвили-Сталина. Усами?

За его спиной на стене располагались Почетная грамота то ли городского, то ли министерского уровня с формулировкой «за выдающиеся педагогические достижения», спортивная рапира и тот самый кед, невинно замаскированный под спортивную обувь.

– А рапира зачем? – рассеяно спросил я.

– Рапира – это холодное оружие. Укрепляет боевой дух. Длина клинка – девяносто восемь сантиметров. Крепкая сталь. На этом образце нет боевой заточки, но ее легко сделать. Именно на таком оружии тренировались дуэлянты. Хочешь подержать?

– Нет никакого желания.

– Держи, корнет! Ощути, что чувствовал поручик граф Ростов. Мужчина должен уметь фехтовать. Это тебе не членом размахивать.

Я взял рапиру в правую руку. Легко представилось, как увесистая холодная сталь пронзает теплое живое тело. Стало не по себе.

– Почувствовал? Верни оружие в надежные руки. Перед тобой мастер спорта по фехтованию. Вот смотри!

Учитель взял рапиру, встал в позицию (в глазах блеснул стальной огонек) – и, согнув ноги в коленях, сделал змеиный выпад, пронзив чучело, услужливо стоявшее в углу. Низкорослое чучело в шляпе с широкими полями чем-то напоминало Наполеона. Дался им этот коротышка корсиканец!

– Раз! Уноси готовенького! Теперь ты.

– Не хочу.

– К барьеру, корнет!

Он вложил мне в кисть рукоятку, обмотанную синей изолентой. Ребром ладони подогнул мне колени – и я, как краб, вцепился ими в пол. Стоило взять рапиру в руки, и воинственные токи разбежались по телу. Учитель поправил мне рапиру – слегка приподнял тонкий конец вверх – искомандовал:

– Делай – раз! Целься в корпус. Сталь сама найдет робкое сердце. Ну!

Внутри меня щелкнул курок, пружина сорвалась – и я, чувствуя себя то ли началом, то ли продолжением рапиры, с криком «на!» выстрелил вперед.

Рапира пропорола ткань чучела. Я был несколько озадачен обнаруженным в себе запасом агрессии.

– Молодца! – сказал Учитель. – Вот теперь самое время хлебнуть шампанского, то бишь «Рислинга». За здоровье избиенного Пашки, а также за твое посвящение... в корнеты. Идешь к детям или к женщинам, педагог, – возьми в руки плеть. Так говорил Заратустра. Кликнуть мне денщика Тал-

гатика!

...Странно. Столько лет прошло, а я с тех пор ненавижу вкус «Рислинга»; мне не нравятся также короткие прически у женщин и сладковатый одеколон мужчин. Еще что-то не нравится...

Фехтование. К нему у меня особое отношение.

Да, и еще... Достоевского с тех пор я практически не перечитываю для себя лично.

Только для дела.

4. Слезинка ребенка

Мама время от времени рассказывала мне забавную историю из моего детства, которую я и сам помнил, правда, смутно, но вместе с тем ярко, и всегда дополнял ее какими-то новыми подробностями; наверно, просто выдумывал.

Я ходил тогда в детский садик № 17, располагавшийся, кажется, по улице имени славной дочери то ли болгарского, то ли казахского народа (а может, вообще индийского? Надо посмотреть старую карту Минска). Однажды девочка с длинными светлыми волосами (наличие длинных волос делало любую девочку, девушку или женщину в моих глазах писаной красавицей) по имени Оксана предложила мне стать ее мужем. Поигрывая волосами, она быстренько объяснила мне причины такого экстравагантного предложения. Дело в том, что у ее мамы не было мужа, и Оксана, очевидно, решила, что уж она-то заведет себе мужа обязательно. И чем раньше – тем лучше.

Я сначала заколебался, в мои планы не входило жениться в столь нежном возрасте; но когда выяснилось, что свадьба у нас будет настоящая, что это событие мы всей группой отпразднуем с размахом – организуем застолье со вкусным печеньем и кексом (а кекс в то время был главным удовольствием моей жизни, пожалуй, он вполне мог конкурировать с длинными волосами прекрасной Оксаны; да и сейчас

мне трудно устоять перед поджаристой корочкой, отдающей мягким ванильным ароматом, из-под которой проглядывают гроздья набухшего темным янтарем изюма) – я поспешно согласился.

И вот я сидел во главе стола рядом с девочкой с распущенными длинными волосами и уплетал кекс за обе щеки. Это был миг настоящего счастья, который я пронзительно помню до сих пор. Ванилин, изюм и желтоватое рыхлое тесто – это вкус счастья; девочка с длинными волосами, трогательно контролирующая процесс, касающийся самой сути счастья (чтобы кекс у тебя никогда не кончался), – это образ счастья.

– Все, теперь ты будешь любить меня всегда и никогда не бросишь. Правда?

Я энергично кивал головой, строго следя за тем, чтобы рот у меня был набит до отказа.

– Нет, ты скажи, чтобы все слышали, – настаивала Оксана.

– Да, – сказал я, сделав краткую паузу ради своей жены.

– Вот видите, – сказала Оксана, – он сказал «да».

Я еще раз кивнул, подтверждая сказанное. После этого попросил газированный напиток «Буратино».

Вот и все, что я помнил, если не считать улыбчивых солнечных бликов, круглого лица воспитательницы, да еще странного выражения глаз моей мамы, которой сообщили, что сын ее единокровный отныне скоропостижно женат.

Впрочем, все это я мог уже и выдумать.

Мама моя живет только в детских моих воспоминаниях,

которых сохранилось совсем немного. Вот одно из них.

Мама тяжело заболела, и я сидел возле нее с не детски серьезным выражением лица. Она решила, что ее женатый сын сильно переживает за маму, и стала меня утешать, тронутая той самой слезинкой ребенка.

– Все будет хорошо, мой сынуля.

Я понимаю Достоевского, который детей-ангелочков сделал символами чистоты и неиспорченности. Я бы только уточнил: они являются символами святой простоты, да-да.

– Мама, а с кем я буду жить, когда ты умрешь? С папой? – заботливо поинтересовался я. Что-то подсказывало мне, что папа, которого держала в семье только болезнь мамы, никак не сможет ее заменить. Так оно, собственно, и произошло.

При этом я точно помню проявление деликатности, которое растрогало меня самого: я ни словом не обмолвился о проблеме избытия кексов, которая вполне могла ожидать меня в будущем. Я подумал, что нехорошо думать о кексах в тот момент, когда маме плохо. И еще я подумал о том, что наверняка веду себя как хороший мальчик, вполне заслуживающий похвалы мамы.

Любил ли я маму?

Конечно. Несомненно. Однако моя любовь к ней была тесно переплетена с эгоистическими интересами; я любил ее свято и беззаветно, но при этом с большой пользой для себя; с детства, когда я еще толком не научился врать, во мне честно закрепилось ощущение: любить – значит, бороться, в

случае удачи – подчинять, в идеале – побеждать. Любовь была неотделима от соперничества, изворотливости, хитрости. У взрослого «дяди» все сложнее – в том случае, правда, если у него появляется чувство собственного достоинства (как результат любви, заметим). В этом случае он храбро и мудро воюет не только со всем миром, не только с любимой, но прежде всего – с самим собой. Любовь – это большая наука.

Мама не стало, и с тех пор для меня главной проблемой стала проблема любви. Я ревниво наблюдал за тем, как чужие родители любят своих детей, как они делают вид, что любят чужих детей, как дети любят своих родителей и позволяют себе капризничать, уверенные в том, что их не бросят. Если я чему-то и завидовал, то именно этой уверенности. Я чувствовал себя страшно одиноким (мне не с кем было бороться, некого было душить в объятиях!), к тому же беспомощным и беззащитным дитятей, хотя все вокруг твердили о том, как быстро я повзрослел и стал «все понимать». Им просто выгодно было считать меня взрослым, ведь это ребенок требует к себе повышенного внимания, а человек самостоятельный – уже нет, вот они и миндальничали со мной как со взрослым. А я не торопился во взрослую жизнь, хотя и детская жизнь моя оборвалась явно раньше времени. Кексы и длинные волосы, как у мамы, – вот и все мои детские слабости.

«Чувство между мужчиной и женщиной, яркое, похожее на любовь», нас с Элеонорой, разумеется, так и не связало.

Моя философия любви в тот момент базировалась вокруг немудреного постулата: скажи мне, кого ты любишь, и я скажу, чего стоит твоя любовь. Любить Элеонору?

Пошлость я чувствовал нутром уже тогда.

И я, подчиняясь чувству ностальгии, смешанного с чувством мечты, отправился в тот самый детский садик, где когда-то благополучно женился на Оксане.

Странно, но мне удалось заполучить ее адресок, правдами и неправдами. «Главное – результат», – как любила поучать Марго. И я его добился. Я купил цветы и отправился на свидание с женой своего детства. Зачем?

Спросите у Достоевского. Захотел – и все тут.

Дело было под вечер. Перышко луны нерешительно зависло в синем небе. Я пытался представить себе лицо и фигуру Оксаны – но у меня ничего не получалось. Девочка с длинными волосами никак не превращалась в моем воображении во взрослую барышню. Да и вообще моя затея стала казаться мне все более и более нелепой. Даже где-то пошлой, что в моем тогдашнем понимании было величайшим грехом. Излишняя наивность или наигранный романтизм – это яркие оттенки в спектре пошлости. (Позже, много лет спустя, когда я стал трактовать пошлость как неосознанную ложь, я понял, что был прав в своем бессознательном отношении к пошлости.)

Дверь, обитую потрепанным, каким-то ржавым дерматином, открыла озабоченная девушка с русыми волосами, за-

бранными в хвостик.

– Оксана?

– Да...

– Меня зовут Герман, Герман Романов. Я человек из вашего детства...

На ней был фартук, и от нее пахло густым кухонным духом: жареным луком, вареным мясом. Она смотрела на меня, на букет и долго не понимала, о чем я говорю. Правда, следует отдать ей должное: ей становилось неловко оттого, что я просто корчился от неловкости.

Потом она приняла цветы и растерянно держала меня в прихожей, не зная, как со мной поступить. Что ни говори, а детская история со свадьбой – наше общее забавное прошлое – должна была сближать нас; я уже считался не человеком с улицы, а старинным знакомым.

Но нам было решительно не о чем говорить. Бывает так, что с человеком сразу становится интересно, а чаще случается – наоборот: через минуту делается ясно, что мы напрасно теряем время.

И тут Оксана удивила меня: вопреки одновременно уловленному нами ощущению бесперспективности наших отношений, она решительно сдернула с себя фартук, оставшись в вылинявшем сарафане (она была в том возрасте, когда шмотка любого покроя и фасона только подчеркивает прелести женской фигуры), и коротко указала мне на дверь в гостиную. Ее уверенные жесты смутно напомнили мне девоч-

ку из чудного детсада № 17.

Я осторожно переступил порог. На полу, покрытом зеленой ковровой дорожкой, сидела девочка с длинными волосами и складывала теремок из разноцветных кубиков.

– Ты кто? – спросил я.

– Я Рита, мама и бабушкина дочь, – ответило мне милое существо голосом девочки Оксаны из моего прошлого.

– А в садик ты ходишь?

Она молча кивнула, продолжая серьезно играть.

– А воспитательницы у вас хорошие? – отчего-то поинтересовался я.

– Тетя Маша хорошая, добрая, а тетя Зина плохая, злая.

– Понятно. А хочешь знать, как меня зовут?

Девочка Рита отрицательно качнула головой.

Настоящее Оксаны тоже становилось мне более-менее понятным.

– Меня зовут Герман, и я учу детей в школе. Учил, гм-гм.

– А чему ты их учишь? Чтобы они тебя слушались? – спросила Рита, любуясь теремком.

– Славная малышка, – как воспитанный взрослый сообщил я Оксане, которая вошла в комнату с откупоренной бутылкой «Рислинга» в одной руке и двумя узкими фужерами в другой (подчеркнутую независимость, а может, и страх обрести зависимость, кто знает, я читал в каждом движении). Из уважения к гостю она набросила на себя светлую блузку, больше не изменив в своем облике буквально ничего. Ува-

жение к гостю подозрительно напоминало форму уважения к самой себе. Во всяком случае, я не чувствовал, что именно меня собираются радовать свежим нарядом.

– Мы одни растем, без папы, нам положено быть славными, – сказала она спокойно, без вызова, разливая вино.

– Интересно, а наши воспитательницы были хорошими? Я их совершенно не помню. Помню только чье-то круглое лицо. Круглое почему-то считается добрым, а вот если морда клином...

– Я не помню вообще ничего из раннего детства, даже нашей свадьбы, извини. Хотя и верю, что она была.

– Хороших воспитателей и учителей не помнят. А вот монстров запоминают навсегда.

– Какой смысл пить за прошлое, которого не помним, верно? Давай выпьем за будущее, которого не знаем.

В этот момент Рита попросила включить ей телевизор, чтобы посмотреть «Спокойной ночи, малыши». Но передачу отменили: Брежнев все-таки умер. По всем каналам звучала изысканно скорбная музыка. Весь классический траурный репертуар мира был у ног звездного генсека.

Мы выпили, и я сказал:

– Мне кажется, я знаю свое будущее. Я его чувствую.

И ни с того ни с сего добавил:

– На днях я уйду из школы.

– Почему?

– Потому что фактически я убил ученика.

– Как это убил? В буквальном смысле, что ли?

– Буквальнее не бывает.

– Так ты злой?

Я пожал плечами и зачем-то рассказал ей, незнакомому человеку, историю Пашки Кузнечика, которому я сначала кулаком отбил внутренности, и он начал на глазах желтеть и вянуть; а потом Учитель из педагогических соображений добил его своим кедом.

– Сейчас Пашка в реанимации. Что с ним – определить не могут. Он просто гаснет. Юрий Борисыч, само собой, поспешил донести на меня Маргарите Петровне, и та, не дожидаясь конца истории, попросила меня написать заявление об уходе «по собственному желанию». Что я и сделал.

– А может, он умирает и не из-за тебя вовсе; может, он чем-нибудь болеет.

– Я до сих пор косточками кулака чувствую противную мягкость его ливера...

– Совесть мучает?

– Интересный вопрос. Если Гусь умирает действительно из-за моего кулака, то мне ужасно не по себе. Но если он погибает по какой-то другой причине... Нет, радости я не испытываю; мне просто все равно.

На самом деле для меня во всей этой истории поразительнее всего было то, что Гусь никому, ни единой душе не обмолвился о том, что я двинул его в живот в коридоре, как бог черепаху. Это вызывало у меня не уважение к Гусю, вовсе

нет; это обостряло то, что Оксана назвала «муки совести». Словно я ударил больного или упавшего человека, не зная при этом, что он болен или упал.

Но бежать к Гусю и каяться...

Я чувствовал фальшь и ложь такого поступка в стиле какой-нибудь Марго. Возможно, они и ждут от меня такого поступка. Тем более не пойду. На похороны, возможно, явлюсь, а вот в больницу любоваться страданиями усыхающего, то бишь успоающего, – увольте.

– Как ты думаешь, ты – сволочь, Герман?

– Думаю, что нет. Вряд ли. Вот Учитель – сволочь. И Марго тоже.

– Ты же не жениться на мне пришел, верно?

– Сразу не скажешь, зачем я пришел. Иногда я понимаю причины своих поступков годы спустя. Но действовать надо уже сегодня. Вот так и живем, слегка вслепую... Самые ответственные решения приходится принимать в молодости, когда не понимаешь ни себя, ни других. Молодость – пора принятия зрелых решений... Это похоже на насмешку.

– Кто над нами смеется, Герман?

– Да никто. И от этого насмешка кажется мне особенно гнусной. Над тобой никто не смеется – а насмешка вот она, до ушей. Чепуха какая-то.

– Ты мне понравился. Не зря я выбрала тебя в детском саду.

– Ты уверена, что это ты меня выбрала? Я ведь тебя тоже

выбрал.

– Ну, уж нет, Герман Львович. Я же себя знаю. Мужчина выбирает после того, как выбрала женщина.

– Почему же тогда всегда и во всем виноват мужчина?

– Не надо было соглашаться, милый. Женщины часто ошибаются.

– Ты мне тоже понравилась. Но женюсь я на Вите.

– Кто такой Витя?

5. Змея в шоколаде

Ничего не случилось.

У Майки была роскошная вагина – тесное лоно капризной девственницы, и я получал удовольствие и от ее упругих прелестей, и еще больше от того, что она со мной изменяет будущему мужу, Артему, поклоннику Тарзана.

Это сложное чувство трудно описать. Собственно, удовольствие от измены получала она (втайне от одного отдаётся другому); я же наслаждался тем, что мог видеть ситуацию с разных сторон – и ее, и его и моими глазами. Она, такая чистая и непорочная в глазах Артема, развратничала со мной, прелюбодействовала: она наслаждалась своей двойной природой, чувствовала себя Змеей в шоколаде (что придавало ее движениям и позам порочную откровенность). С другой стороны, змеей в шоколаде чувствовал себя и я: кроме того, что Майка была смуглой (следовательно, я энергично орудовал в смуглом теле), я поверхностно знал Артема – то есть через его будущую жену я змеиным финтом проникал в его дом, гремучими кольцами сворачивался на его ложе. Если бы самолюбивый Артем, идеальное пособие по мышечному атласу мужчины, узнал об этом, он с наслаждением размазал бы по моему просторному дивану нас обоих (восточные единоборства вообще и поза змеи в частности – его настольная Библия). Это, естественно, придавало особую

пикантность приключению и спланивало нас все более и более, и более. Представлять божественно сложенного Артема, будущую кинозвезду, абсолютно уверенную в своей Майке, в тот момент, когда его избранница распластанной коричневой ящеркой извивалась подо мной в сладких судорогах...

Впрочем, в тот момент мне было уже не до него. Майке, я думаю, тоже.

Итак, мы с Майкой поступали, возможно, и не очень хорошо (с точки зрения какого-то условного архаического кодекса, о котором я, как и все молодые люди, уверенно шагавшие в XXI век, имел смутное представление), но несказанно довольны были все трое.

Вечером я шел к своей девушке Вите, будущей невесте (в непорочности которой, кстати, я был тоже абсолютно уверен, потому что порочность прививал ей исключительно я), и мы отлично проводили время. После того, как побываешь в постели с заводной Майкой, очень хотелось спокойную Виту. Здесь, в ее кроватке, я наслаждался скромностью своей подруги, предпочитавшей кошачьи повадки всем остальным. Сколько я ни приглядывался, не находил в ней ничего змеино-го.

И меня опять тянуло к Майке...

Жизнь – это жизнь, называйте кошку кошкой, змею змеей, а удовольствие – удовольствием. Зачем врать? Получайте удовольствие от всего, в том числе от правды – от того, в частности, что не врешь самому себе, когда врешь другим.

Вот и весь мой новейший кодекс на тот момент. От такой простоты – куча бонусов. Я получал удовольствие еще и от того, что мой мир был устроен просто, хотя я втайне надеялся, что простота – залог надежности (и уж совсем втайне я предчувствовал, что простота – это форма сложности). Это был мой главный приз – приз за легкомыслие от какого-то Всемирного Папы, главы всех взрослых и ответственных.

Что у нас завтра?

Какая разница, если сегодня ты молод и здоров, тебе на днях стукнуло двадцать семь, а ей, Вите, около девятнадцати, кажется.

Что у нас на улице?

Октябрь. Ночная гроза. Молнии, словно ослепительные алмазные подвески, гроздьями блистали на темном небе; трескучие раскаты грома набегали волнами, замирали, и после этого слышался мягкий шелест дождя, сыпавшегося из прорех, прожженных подвесками. И вновь в той же последовательности: алмазный салют, строгий гром, как будто кто-то Ответственный грозил мне из иных миров, мягкий укор дождя. Весело.

Рядом сладко сопела моя кошечка, прислонившись ко мне спиной. Я закрыл глаза и заснул сном праведника, правота которого заключалась в том, что он был все еще относительно молод.

А как же любовь?

Что-то не хотелось мне тогда думать о любви (хотя, каза-

лось бы, я жил и купался в любви). Я чувствовал, что мне невыгодно погружаться в философию любви.

Вот я и не погружался.

6. СПИД (SPEED)

– Герман! Геррманн!!

Голос Майки вибрировал так, что это отдавалось в трубке телефона.

– Мы пропали! Ты меня убьешь – но, клянусь, я ни в чем не виновата, ни в чем. Я сама не знала! Это все он, он, Артем!

Из всей этой белиберды я понял только одно, точнее, из осколков бреда выстроил сколько-нибудь правдоподобное предположение: будущий муж Майки узнал о том, что я сплю с его будущей женой в течение двух лет. Первый год не в счет, потому что Артема тогда еще не было на горизонте, а вот второй можно было и занести клиенту в стаж при желании. Бицепсы пришли в тонус от струи адреналина и вздулись. Появился нездоровый блеск в глазах. Мое маленькое удовольствие, кажется, заканчивалось, преступление готово было вот-вот продлиться наказанием. Катастрофа, конечно, но, с другой стороны, может и не до конца размажет, самурай накачанный. За все в жизни надо платить, понимаем...

– Герман! Что будем делать?

– Надо встретиться. Я ведь толком ничего и не понял. Артем узнал, что ты ему изменяешь со мной – так, что ли? – я прикрыл рукой трубку и вжал голову в плечи.

– Нет, не-ет...

Майка плакала, издавая звук реактивного самолетика.

– Нет? Странно. Давай встретимся. В «Березке», годится? Ты мне все расскажешь. Не плачь. Что ты ему там наплела, интересно? У меня ведь тоже скоро появится невеста. Всегда полезно знать, о чем думают невесты.

Майка стала плакать еще громче.

Как только я увидел Майку в кафе «Березка», я понял, что стряслось в самом деле что-то необычное. Майка, легкомысленная девушка, никогда бы не стала убиваться по пустякам. Я думаю, начало Третьей мировой она бы просто не заметила. Такие уж мы глупые эгоистки, так уж мы счастливо созданы.

Говорить на людях она была не в состоянии: ее трясло и лихорадило. Ее живые карие глаза помутнели и побледнели. Я вынужден был крепко взять ее под руку и увести в парк.

Бессмысленно передавать ее словами то, что она мне, в конце концов, сообщила. Сначала она кричала «Герман, лапушка!», потом «Артем, как ты мог!», потом просто выла минут десять на одной ноте. Такое впечатление, что в «ля миноре».

Время от времени я голосом доктора Айболита, принявшего дежурство в реанимации, задавал ей короткие, но убийственные вопросы, чтобы привести ее в чувство. «Ты беременна?» «У тебя умерла мама?» «Артем погиб?» «Ты не сошла с ума?» «Как тебя зовут?»

Каждый вопрос только подливал масла в огонь: она истерично кричала «нет же, нет!» и всплескивала руками. Я

окончательно растерялся, поэтому в моих действиях появилась не слишком свойственная мне уверенность. Я сильно обнял ее за плечи, прислонил к себе, потом прижал, усадил на скамейку, и она мало-помалу затихла в тисках моих рук.

То, что она мне рассказала, было по-своему забавно. Если бы это случилось не со мной, веселило бы меня дня два, я думаю, не меньше.

Итак, по порядку и без эмоций.

Артем, поклонник Тарзана, заразился СПИДом половым путем («Мерзавец!») – сочно рявкнула в этом месте Майка от порядочной девушки (имени мы не знаем), случайно принявшей наркотик через шприц наркомана. Девушке просто захотелось острых ощущений – хотя бы разок в жизни. Как будто в дальнейшем она собиралась вести обычную, пресную, унылую жизнь. Естественно, согласно элементарным законам, так некстати всегда противоречащим чуду, этот недоделанный бодибилдер заразил свою подругу, Майку, а та, в свою очередь, своего приятеля, то есть меня. По идее, я должен был заразить свою невесту, Виту. На этом, по идее, цепь должна прерваться.

– Ты меня убьешь? – спросила Майка, обессилено сморкаясь в насквозь мокрый платок.

– Я подумаю, – сказал я. – Но даже если я убью тебя, это вряд ли продлит мою жизнь. И жизнь Виты.

– Прости, – сказала Майка.

Странно: от этого бессмысленного ритуального словечка

у меня стало легче на душу. Я даже зауважал Майку, и мне стало ее жаль.

Артем уж заодно признался и в своих мелких грешках: оказывается, он был гомосексуалистом со стажем. Зря я, прах его побери, переживал за его будущее с Майкой.

– Голубенький? – спросил я, подняв бровь.

– Ага, – Майка со стыда опустила голову. – Бисексуал.

– Обидно, – выдохнул я, – принимаешь заразу черт знает от кого.

– Прости, – пролепетала Майка.

– А ты уверена, что больна? Анализы сдавала?

Это было, конечно, проявлением слабости с моей стороны.

– Дважды. Реакция положительная: ВИЧ-инфекция, – сказала Майка. – Боюсь, к тебе тоже скоро нагрянут врачи.

Можно было не сомневаться: в таких делах Майка проявляла завидную практическую хватку. Если бы она хоть на йоту сомневалась, ничего бы мне не сказала. О ком бы мы ни плакали, мы плачем о себе. Это точно.

– О чем ты думаешь? – спросила Майка. Ее глаза вновь стали приобретать решительный карий оттенок.

– Я думаю о Вите, – сказал я. – Не об Артеме же мне думать.

– Давай поженимся, – предложила она будничным тоном. – Что нам терять?

И я почувствовал, что эта цветущая девушка уже приме-

ряла на себя психологию тех, кто вынужден расставаться с жизнью. Через каких-нибудь пару часов и я стану рассуждать так же. Что ж, она права: в принципе все просто, если не врать себе. Наша психика мгновенно приспосабливается к новой ситуации. Новые чувства тут же заставляют человека принимать новую веру, а новая вера превращается в новое мировоззрение. Так можно менять убеждения каждый день, и делать это совершенно искренне. Но можно ли доверять чувствам?

А если нет, чему же тогда доверять?

Я почувствовал, что сию секунду в голове моей пронеслась в высшей степени глубокая и спасительная мысль, даже целая система мыслей, что мне ни в коем случае не следует забывать логику их сцепления. Но от мыслей осталось только ощущение того, что они в принципе существуют. Сами они обидно истаяли. Очевидно, пока что я не был готов к такой глубине. И только потрясение преждевременно (хотя – как сказать...) шевельнуло во мне ком еще не зрелых мыслей, в направлении которых я, очевидно, топал свою недолгую жизнь. Мысли связаны, конечно, с чувствами, – но как?

– А Вита? – спросил я.

Майка пожала плечами. Это можно было понять так: «Что ж, как знаешь. Вита так Вита. Тоже вариант. Но если передумаешь...»

– Через час тебе станет невыносимо плохо. Но я ничем не могу тебе помочь. Я совершенно пуста внутри. Только не

спеши вешаться. А то успеешь.

Мы помолчали.

– Ты умеешь плавать? – зачем-то спросил я.

– У меня получается не тонуть, – серьезно ответила Майка. – Но я не уверена, что это называется плавать.

Я боялся, что последним словом во фразе будет «прости». Но, к счастью, я ошибся. Она сказала: «Прощай».

К счастью, и она ошиблась. Мне не было так плохо, как ей хотелось бы.

У меня, приговоренного, кому в ближайшем будущем светил полный и тотальный капут, кажется, впервые за долгое время проснулся интерес к жизни. Причем, «проснулся» здесь употреблено в значении «проснулся вулкан». Произошел своего рода тектонический сдвиг в моих недрах, состоящих из веществ ума и чувства, и – я был готов голову дать на отсечение, хотя она, судя по всему, стоила уже не очень много, и с каждым часом должна была только обесцениваться, – сдвиг этот был как-то связан с моим «бесследно» исчезнувшим прозрением.

Я бы убил в тот момент того, кто пролепетал бы мне банальщину, доступную и Учителю: дескать, чувство смерти обостряет чувство жизни. Только и всего. Не стоило ради этого заражаться СПИДом. Я чувствовал, что дело было не в чувствах. Впервые за свою сознательную жизнь я отделил чувства – любые чувства: смерти, жизни, любви – от истины и готов был сражаться за правое дело до конца. Мне уже

легко было произносить про себя «до конца». В чем-то, конечно, я шел дорожкой Майки. Мы одинаково относились к жизни.

Но мы по-разному смотрели на смерть.

Ну-ка, что может предложить мир человеку свободному, в расцвете сил, без будущего и без иллюзий? Кому нечего терять, тот имеет шанс найти истину.

Что ж, не самая плохая судьба, если разобраться. Я согласен.

Вот только переживу разговор с Витой...

7. АСПИД, или Небывалый мутант

Ничего не могу с собой поделаться: моя жизнь кажется мне цитатой из моего еще не написанного романа. Собственно, так было всегда, просто осознал я это относительно недавно.

Вот и сейчас, прокручивая в голове и сердце свою жизнь-роман, я с любопытством жду: а что же будет дальше?

Ведь все уже было, было и прошло, а я с огромным интересом жду от себя, Германа, больших сюрпризов. И считаю это нормальным: вот что должно бы меня насторожить.

Но не настораживает.

Вита повела себя предсказуемо: она отшатнулась от меня, как от чумного, и одним взмахом перепуганных ресниц разорвала нашу необычайно крепкую и перспективную связь без малейшего сожаления и без колебаний. Меня стало на одно отношение меньше: эту калиточку, ведущую в рай под ручку с Витой, передо мной захлопнули наглухо. Мир сократился на одно измерение – и тут же стал увеличиваться на несколько параметров: вместе с разочарованием приходило (правда, не сразу) понимание.

Вначале от этого не было легче. Я знал, что она поведет себя именно так; но я не мог себе объяснить, почему она повела себя таким образом. Срабатывал какой-то закон; но вот какой?

Я тут же позвонил Оксане, чтобы проверить смутное

предположение. Кроме того, надо было внести в наши отношения окончательную ясность.

Она вежливо выслушала мою печальную повесть о подхваченной мной неизлечимой болезни, ни разу не перебила и под конец вздохнула:

– Очень жаль. Ты так понравился мне, и особенно Рите. Хорошо, что ты не успел войти в нашу жизнь: нам бы тебя очень не хватало. Удачи.

Короткие гудки.

Так завершилась история, берущая начало в детсадовской эпохе. Так сказать, усох еще один сук на древе жизни. Вся жизнь наша состоит из подобных историй; большой соблазн грамотно их расположить и связно о них рассказать. Кажется, что непременно получится захватывающий роман – вырастет огромное дерево с пышной крепкой кроной, и следы обрубленных сучьев, словно рваные шрамы, будут только украшать кору-кольчугу, напоминая о прошлом, у которого было сомнительное будущее.

Но нет, пожалуй, историй-обрубков будет маловато: утратится объемность и иллюзия жизни; из обрубленных сучьев не создашь живое дерево. Все истории держатся на стволовом смысле, понятен он вам или нет. Роман написать так же сложно, как прожить жизнь: все время движешься вслепую, наощупь... Главное, чтобы в верном направлении.

Вот, скажем, куда теперь?

У меня не было никаких обязательств ни перед кем, не

считая, пожалуй, самого себя; я был готов на все, на любую авантюру или эксперимент: напомню, терять мне было нечего.

И жизнь уныло, словно по чьей-то подсказке, подбрасывала мне рецепт дешевой идеологии, ведущей к дешевому счастью: живи одним днем. Зажигай. После меня хоть потоп. Это подозрительно напоминало вариант мести. Только вот кому и за что?

Кроме того, это было скучно, ибо напоминало прежнюю жизнь. Ну, буду я жрать, пить и встречаться с девушками (сплошь красавицами, зараженными ВИЧ-инфекцией, само собой) в три раза больше, чем вчера. Будет в три раза больше счастья? Нет, будет в три раза скучнее. Мне определенно требовалось что-то другое.

Для начала я решил сходить на могилу к Пашке Кузнецкичу, который, были у меня подозрения, загнулся именно от СПИДа. Я проштудировал соответствующую литературу: вся симптоматика сходилась. Поговорил кое с кем из его окружения – подозрения окрепли. Не то, чтобы я решил суеверно поклониться в ножки своему будущему, с целью подленько его избежать; просто общая судьба нас как-то сблизила. Пашке, наверное, было так же паршиво, как и мне; от него, как и от меня, отвернулась Вита; а тут еще я от души врезал ему под дых.

Прости, Пашка.

Мне не понравилось, что надгробие Пашкиной могилы

украшало фото жизнерадостного мордатого подростка. Это как-то снижало градус трагедии и выглядело до жути пошло. Понравилось мне, что на его могиле совершенно не было цветов: две принесенных мною пурпурных розы смотрелись сиротливо и обреченно. Меня забудут так же быстро.

Знающие люди посоветовали мне радикально впасть в буддизм. Дескать, религия для образованных, толерантных, склонных к размышлениям и романтическому диссидентству людей. Медитации удивительно врачуют душу. Просто панацея. Еще будешь благодарить Будду за то, что нарвался на СПИД. Глаза вступивших на этот путь блестели, словно обильно смазанные растительным маслом (хотелось думать, что оливковым).

Нет, лучше уж сразу в могилу. Мне надо было пробуждать сознание, а не усыплять его. Причем, следовало торопиться, если я хотел чего-то достичь.

И первое открытие на моем тернистом пути было обескураживающим: никто не знал, как следует пробуждать сознание, разум. Никто. У человечества не было культуры пробуждать сознание. Была культура развивать интеллект, была культура с помощью интеллекта запутываться в сетях веры, думая при этом, что они наконец-то обретают вожаемую свободу. Все вокруг спорили, ершились, дискутировали – но только до той грани, за которой начиналась угроза разоблачения их позиции как цитадели пустоты. Тут все интеллигентно опрокидывались в прострацию и начинали беззвучно

разевать рот, как большие глубинные рыбы, которых губил избыток воздуха. Им нужна была мутная глубина; глубины в сочетании с ясностью они не выносили. Спорить с таким народом скоро превратилось в форму унижения для меня, и я быстро нашел способ не подвергать свое чувство достоинства болезненным испытаниям: я становился все более и более одиноким. И где-то даже байронически заносчивым.

Историй, которые бы подтверждали сказанное, со мной случалось множество, по несколько раз в сутки. Вот только одна из них на тему «коварство веры».

Однажды в одной из интеллигентных, следовательно, демократически настроенных компаний, которые стали на какое-то время средой моего обитания, женщина, незамужняя, бездетная, считающая себя умной в последней инстанции, изумительно страшенькая (в то время широко было распространено заблуждение, согласно которому говорить о внешних данных умной женщины – значило глупо не замечать ее ума), завела «безумно интересный» разговор со мной, мужчиной, – то есть затеяла очередную дуэль, чтобы в очередной раз доказать себе, что все мужики глупы, как последние дуры.

– Моя близкая подруга, актриса Настенька Н., приняла постриг и удалилась в монастырь, – коварно начала умная женщина.

Я молчал.

– Это подвиг. Вы не находите?

– Боюсь, что нет.

– Суметь отказаться от соблазнов – это подвиг. Разве нет?

– Я не понимаю, почему, собственно, подвигом надо считать то, что Настенька отказалась от жизни? Это всего лишь один из вариантов защиты и ухода от жизни, самый считае­мый сегодня, как и тысячу лет тому назад, но не единственный. Есть еще, например, не менее престижные: работа, кухонная борьба с догмами социализма, феминизм, альпинизм, буддизм, футбол... Много. Специально не считал. Даже тотальная забота о своем здоровье – это вариант ухода от жизни. Все это, увы, плохой способ стать хорошим человеком. Не любишь жизнь – плохой.

– Разве она не силу проявила, уйдя в монастырь? Она отказалась от всего того, без чего не могут обойтись слабые люди.

– Разве она не слабость проявила, испугавшись самой себя, своих естественных желаний, желаний зачать, выносить и воспитать детей и любить при этом мужа, что, согласитесь, непросто? Разве не слабость делать вид, что ты сильнее своей природы? Это унижительная слабость – лицемерие. И дважды унижительно – выдавать это за силу.

– По-вашему, и преподобная Евфросинья Полоцкая такая же слабая?

Этот аргумент она выдвинула весьма дипломатично: положила передо мной на стол ядерный чемоданчик. Социальный миф, проверенный временем. Дескать, давайте, отваж-

ный мужчина, сверим позиции. После этого аргумента я должен был стать шелковым и сговорчивым.

– По-моему бесподобная Евфросинья Полоцкая обязана своей славе невежеству людей. Что за доблесть сбежать в монастырь девчонкой, не познавшей жизни, и потом всю жизнь учить тому, что познание и любовь к жизни суть величайшие грехи?

– Вы переходите на личности и символы.

– Виноват, этот вы на них перешли. Вы мне лучше вот что скажите: самоубийство, то бишь радикальный уход ото всех и всяческих соблазнов, тоже, по-вашему, проявление силы?

– Отчасти, несомненно, да. Умерщвление плоти в разумных пределах – это хорошо. Крайность, такая, как самоубийство, – плохо.

– Я вам аплодирую. Вы последовательный бессознательный некрофил, каким является всякая сознательная феминистка. Но давайте заглянем дальше, давайте развернем ваш сценарий. Ели приветствовать уход от жизни и, отчасти, самоубийство, если жизнь так плоха, почему бы не приветствовать, отчасти, не только самоубийство, но и убийство, и самих убийц? Это ведь тоже вариант ухода от жизни, самый крайний и радикальный. В таком случае не Евфросинью Полоцкую, а Адольфа Гитлера хочется считать первым феминистом. Лавры, как всегда, мужчинам, извините.

– Вы подонок! Вот таких, как вы, и убить не грех!

– Безусловно, да. Именно, как вы изволили выразиться,

убить. Укокошить – и баста. Брависсимо. Потому что я люблю жизнь и позволяю себе все, что любите вы, но не позволяете себе этого позволить. В силу убеждений. Веры. Плевать я хотел на веру. На любую веру!

В этот момент раздались аплодисменты – и в комнату вошла Вера.

Бурно аплодировал, будто молодежь на галерке, некто Сеня Горб, широко известный в узких кругах шут с философской чудинкой. Он был весел и легкомысленно остроумен, словно больной раком, не желающий замечать того, что осложняет «экзистенциальное существование». Возможно, он и был болен раком в последней стадии, которая случайно затянулась. Его едкие, безадресно изрекаемые истины никто не принимал всерьез в силу их какой-то всеобщей оппозиционности; все-таки в порядочном обществе, сплошь состоявшем из свободных художников – музыкантов, работавших сторожами, гениальных поэтов-грузчиков и невероятно одаренных интеллектуалов, вообще нигде не работавших, так, подрабатывавших там-сям, – приветствовалось свободомыслие с либеральным уклоном, остальную ересь терпели из уважения к свободомыслию первого сорта. И все же Сеню снисходительно принимали – пусть как единичное, но, тем не менее, материальное доказательство торжества плюрализма в порядочном обществе. К тому же Сеня считал Владимира Ленина слабым философом. Правда, Марка Шагала при этом считал бездарем, и никак не мог по-

нять, почему сверхпопулярный рычащий Высоцкий, раскатывающий на «Мерседесе» по Европам, считается гонимым и обделенным. Сплошные неувязочки.

Моя история, которую нещадно перевирали, приписывая мне то любовницу-француженку, то любовника-поляка (и то, и другое считалось крайне лестным), наделала много шума, и я был окружен ореолом мученика, пострадавшего от гнета тоталитарного режима. Хорошим тоном было не шараться от меня, как это было принято в «совковом» обществе, а, напротив, горячо пожимать мне руку (плотный контакт с обреченной плотью изгоя – вот она, солидарность интеллигентов), внимательно вглядываясь в лицо с целью обнаружить на нем знаки начинающегося разложения. Отношение ко мне служило тестом на гуманность.

На сей раз Сеня, с которым мы вместе работали кочегарами («пыльная, но чистая работа», по его словам), был краток:

– Глобальная демократия породила феминизм – вот им же она и накроется. Мягким, женским.

Окружающие воспитанно сделали вид, что не расслышали бормотания юродивого.

Я же про себя заплодировал, во-первых, походке Веры, а во-вторых, Сениной сентенции. Кажется, впервые, увидев женщину, я пожалел, что СПИД накладывает на мои отношения с прекрасным полом известные ограничения, продиктованные нравственными соображениями.

– Сеня, Шагал летит над Витебском в сторону черного

квадрата или от него? – шепотом спросил я у Горба, благодаря его за смелость мысли и записываясь к нему в сообщники.

– Ты мыслишь в правильном направлении, – ответил Сенья. – В черную дыру, практически – жопу, которую эстетам угодно называть квадратом.

– Ведь он летит под музыку «Beatles», я правильно понимаю? We all live in the yellow submarine, не так ли?

– Истинно так. Эти четыре черных омарихуаненных кота, которым одновременно наступили на яйца (отсюда и вокал несравненный), славно лабают под Шагала.

– А ведь те же самые люди, которые восхищаются сказкой о голом короле, рукоплещут «Черному квадрату», пританцовывая под Битлов.

Второй раз за вечер я удостоился аплодисментов от Сени; такого признания от разборчивого кочегара-философа, как он сам мне поведал, заслужил только Шопенгауэр, которого я, признаться, откровенно недолюбливал.

Я вернулся домой и, вдохновленный глазами Веры, принялся писать, воплощать еще самому себе до конца неясный замысел трактата.

Заглавие мне понравилось сразу.

И разбег я взял нешуточный.

ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ

**(роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»)**

1

Для разговора о Ф.М. Достоевском, одном из самых ярких и влиятельных русских писателей, необходимо создать теоретический контекст. Необходима культурологическая теория, целостно интерпретирующая личность и культуру. Я нахожусь в процессе создания такой теории; собственно, эта работа и представляет собой попытку сотворения того самого «теоретического контекста».

Художественный материал, подлежащий осмыслению, поражает своей броской оригинальностью. Так называемая «достоевщина» (употребляю это расхожее, надо признать, меткое определение не как ярлык с негативно окрашенной семантикой, а как совокупность качеств и свойств, присущих моделям писателя, как обозначение характерно достоевских идей и переживаний; отношение же к достоевщине – не личное наше пристрастие (личное пристрастие – это лич-

ные проблемы), а отношение, вытекающее из предлагаемого методологического подхода – мы будем определять не ярлыками, а всей логикой работы) оказала столь заметное воздействие на всю мировую культуру, что от «проклятой достоевщины» невозможно отмахнуться, как это позволили себе, скажем, корифеи эпитетов и метафор Бунин и Набоков. Царственный жест «нравится – не нравится» – это скорая расправа тех, кто не даёт себе труда подумать, кто не в силах преодолеть смутную и порывистую стихию эмоционального отношения, ту же достоевщину. Познавать художника способом художественным же, возможно, и эффективно, не исключено, что порой любопытно, но всегда глупо. Такое «познание» в лучшем случае сгодится как материал для познания «познающего», как, например, речь Достоевского о Пушкине, гораздо более говорящая о субъекте познания, нежели о несчастном объекте.

Механизм «достоевщины», при всей его антропологической «навороченности», достаточно прост в своих корнях и истоках. По существу, писатель специализировался на расогласовании «отражений реальности» с реальностью как таковой, происходящем на поле сугубо психическом. Он пожертвовал духовно-физической гармонией, и даже простой нормальностью человека, дисгармонично выпятив психический компонент личности. Человек Достоевского – это человек переживающий, причём переживающий интенсивно, болезненно, замкнувшись параноидально на пунктике, кото-

рому он безо всяких на то объективных оснований склонен придавать чрезвычайное значение. Его героев не интересуют интриги социальных связей, они не получают удовольствия ни от еды, ни от нормальных душевных отношений, ни от любви или эротики, ни от ответственного мышления, они равнодушны к природе и людям – их волнуют и поглощают исключительно утончённые, зашкаливающие за грань нормы психические взлёты и падения, переживания ради переживания. Нездоровую крайность, свойственную, отчасти, всем здоровым людям, Достоевский превратил в свою золотую жилу.

Да, эта грань человека по-своему интересна, но главное – все эти фокусы с иррациональным элементарны. Психическая глубина – это псевдоглубина. Картинки и переживания поражают калейдоскопической избыточностью и вместе с тем однообразием «базовых моделей», которые лихорадочно расцветаются безудержными фантазиями, при этом неадекватность реальности обескураживающе очевидна. Содержание Достоевщины – не реальность, а её психически-виртуальное замещение, поданное с особым, нервным градусом. Импульс надуманных переживаний выдуманых героев – не от реальности, а от первичных впечатлений по поводу реальности; переживания по поводу переживаний, фантомы по поводу фантомов – вот извилистый путь духовных исканий «философов» Достоевского.

Реальность достаточно проста, груба и пошла, она не

предрасполагает к изошрённому эстетизму, хотя и не отторгает поэтизации как таковой, и даже поощряет здоровую идеализацию, которая приспособливает к реальности (вспомним в этой связи тех же Пушкина и Л. Толстого). Всякого рода эстетизм всегда является детищем игрового, болезненно-психического отношения к реальности. Такого рода искусство, будь то романтизм или постмодернизм, всегда рождается в результате взаимодействия не с реальностью, не с миром объектов и предметов, а как итог взаимодействия с преодолённой, задвинутой, удалённой – *вторичной* – реальностью, итог подвига-сдвига воспалённого воображения. Повышенная психичность влечёт за собой концептуальную бессодержательность такого искусства. Оно самим механизмом творчества запрограммировано на легковесность, на абсолютизацию эстетизма, ибо когда нечего выразить, содержанием выражения становится само выражение.

Вот почему реализм (то есть искусство, *моделирование* реальности, ориентированное, вместе с тем, на познавательное *отражение* объективной действительности) – это больше, чем искусство: это деятельность моделирующего воображения, опирающегося, отчасти, и на противоположное моделирующему, научное отношение. Нереализм (в широком смысле), с точки зрения излагаемой теории художественного творчества, представляет собой чистое искусство, то есть собственно психическую деятельность, вырастающую из себя же, а не из реальности. Нет ничего удивительного в том,

что реализм Достоевского стал предтечей вовсе «не реалистического» модернизма и постмодернизма. Внимание, уделяемое Достоевским болезненным психическим ощущениям и переживаниям, стало основой, на которой отрицается реальность модернизмом. А другой основы в природе не существует.

Вот почему Достоевский по «механизму» замещения реальности близок одновременно и дореалистическому нереализму (тому же романтизму) и постреалистическому сюрреализму (тому же модернизму).

Запад и Восток дружно удивляются: сколько всего пакостного и «святого» разглядел Достоевский в душе человека. А чему тут удивляться?

Удивления достойна неистребимость реалистической тенденции в искусстве, увенчанной явлением зрелого, классического реализма. Размывание же нормальной, здоровой тенденции – дело банальное. Психопатологические искажения, крайности психического экстремизма – это обратная сторона отхода от реализма, это цена за утрату нормального, гармоничного склада личности. Если сосредоточиться исключительно на психике, на галлюцинациях, страхах и тревожных предчувствиях, то культ иррационального бреда благополучно приведёт только к отрыву от реальности.

Заслуга Достоевского в том, что он *подчеркнул психичность человека, его бессознательную душевность, а в этой душевности – непредсказуемость*. Но он же и противопоста-

вил эту истерическую душевность – нормальности, абсолютизовав первую и поставив под сомнение вторую. Герои Достоевского, если уж быть точным, по складу личности, по типу отношений к действительности – фанатики и психопаты. В таком случае совершенно естественно, что отношение к разуму, к сознанию рефлектирующему предопределено было самой однобокой природой персонажей, их отчуждённостью от мира, их вырванностью из контекста социального и природного.

Однако отдадим должное писателю: его герои не просто избегали разума или настороженно относились к нему; Достоевский отчётливо осознавал, что такого рода персонажи *в сознании должны видеть своего смертельного врага*. А такое противопоставление – уже неплохая сцепка с реальностью. Не было бы сосредоточенности на магистральном для культуры, особенно новейшей, конфликте между психикой и сознанием (отражением запутанных отношений приспособления и познания) – не явилось бы и великого пятикнижия Достоевского (имеются в виду романы «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Подросток» и «Братья Карамазовы»), представляющего собой вариации на центральную и главную тему культуры: единства и борьбы психики и сознания.

Психика чувствует, чего ей не хватает, она тянется к сознанию, ощущая при этом свою ущербность и неполноценность и не переставая тянуться к началу противоположно-

му, так как это единственный, что ни говори, способ самопознания (пусть и ограниченный рамками живительного процесса психо– и логотерапии). Иначе зачем же писать столько «идеологических» романов во славу «бессознательного» и во посрамление разума, бесконечно воспроизводя одни и те же типажи святых-«идиотов» и преступных умствующих еретиков-раскольников?

В свете сознания персонажи Достоевского начинают смотреться худосочными марионетками, прилежно иллюстрирующими беспомощность мысли и всесилие капризных вулканов бессознательного. Поразительная бедность мысли автора идеологических романов впечатляет даже не столько сама по себе, сколько вследствие того, что это скудомыслие было воспринято мировой интеллектуальной общественностью как философское откровение. Что тут скажешь?

Общественность читает роман, роман высвечивает гуманитарную невежественность общественности.

Крикливая иррациональность панически отрещивается от цепких щупалец разума – вот всё «содержание» романов психически ангажированного гения. Весомостью аргументов служит не контрпродукция ума (не забудем: коварные концепции и смыслы – это мишень), а интенсивность, противоречивость и полная неподконтрольность интеллекту переживаний и, шире, психических комплексов. *Фактура переживаний – это и есть главный иррациональный аргумент.* Вот почему не следует усматривать в данной работе намёков

на личное нездоровье творца как на главную причину странного его мировидения.

Однако не будем впадать в противоположную крайность: так ведь можно «отмахнуться» от доброй половины мировой литературной классики, поставив под сомнение её содержательность. Не будем требовать от литературы более того, что она может дать; с другой стороны, литература, претендующая на статус сверхлитературы (иначе сказать, умной, мудрой литературы), должна быть подвергнута анализу критическому. И главное, что выявляет такой анализ, заключается в следующем: вновь злейшим врагом психически-моделирующего восприятия было объявлено *ориентированное на объективность* сознание.

Подчеркнём, что пока мы ограничились принципиальной оценкой «достоевщины», не распространяя её вместе с тем как окончательный и исчерпывающий философско-эстетический вердикт на творчество писателя в целом и тем более на какое-либо конкретное художественное произведение, которое всегда в чём-то преодолевает бессознательные установки самого автора.

Какой из романов избрать для анализа?

Мы выберем не тот, который максимально полно репрезентирует интересующую нас проблематику (это было бы подгонкой под концепцию, то есть тем самым насилием над реальностью, что так характерно для Достоевского, представляющего мышление моделирующее, художественно– и

религиозно-идеологическое, и что совершенно неприемлемо для сознания научного, ибо насилие над реальностью несовместимо с деятельностью «чистого сознания», есть приговор ему, другими словами – превращение его в свой антипод, вариант сознания идеологического), а наиболее совершенный в художественном отношении, по нашему мнению. Иное дело, что этот роман как никакой другой оказывается соответствующим нашей концепции, великолепно «подтверждает» её и одновременно даёт ей содержание. Но это, повторим, уже другое дело.

Мы имеем в виду «Преступление и наказание», конечно, первый из романов, открывающий пятикнижие.

Как же долго, неприлично долго не замечалась главная тема и проблема, которой подчинено в романе (и в творчестве Достоевского в целом) буквально всё. И пресловутая острая социальность романа, и его прямо-таки иезуитская идеологичность, и неслыханный психологизм, и сама хвалёная религиозная философия Достоевского, и оригинальная поэтика – всё, всё это следствия из пункта, скрестившего причины причин: борьба с разумом не на жизнь, а на смерть. Без компромиссов. Или – или. Академическая тема «психика и сознание», поставленная ребром, неизбежно тянет за собой кровь и смерть.

Так было в «Евгении Онегине».

Так было в «Войне и мире», в «Пиковой даме».

Так будет и в «Преступлении и наказании».

На следующий день, думая о Вере вперемешку с Достоевским, я отправился за результатами анализа.

Относился я к этой судьбоносной процедуре как к пустой формальности, не секунды не сомневаясь в положительном (то есть крайне отрицательном для себя) результате. Я-то знал, что мы вытворяли с Майкой; после этого надеяться на милость судьбы было наивно. Но и жалеть о времени, с таким толком проведенном с Майкой, было глупо. Преступление без наказания теряет смысл; если уж наказания все равно не избежать, то хотелось бы сначала пережить все удовольствия преступления.

Упитанная медсестра встретила меня показательно недружелюбно, не подпустив ближе, чем на три метра.

– Сдадите повторный анализ крови, – безразлично приказала она.

– Когда?

– Сейчас.

– А первый анализ вас чем-то не устраивает?

– Первый анализ ошибочен: у вас ничего не обнаружили.

– Быть того не может, – пробормотал я, покрываясь алым цветом и не в силах унять дрожь ликования, потрясшую меня до мозга костей.

– Вот-вот, – сказала медсестра. – И я о том же. Закаты-

вайте рукав.

Нацедив полпробирки темно-вишневой крови, она молча отправилась куда-то вглубь лаборатории.

– Когда же я буду знать результаты?

Ответом мне было слабое издевательское звяканье каких-то пинцетиков о какие-то колбочки. Мне давали понять, что пора привыкать к тому, что становишься человеком второго сорта.

– Когда я буду знать эти чертовы результаты! – взревел я.

Из-за ширмы вышел мужчина в белом халате, но в брюках и начищенной обуви, которые выдавали в нем человека, далекого от профессиональной медицины. Вот почему медсестра вела себя так вызывающе: у нее было прикрытие.

– Через неделю, – тихо сказал он.

– Почему так долго?

– Через неделю, – повторил мужчина тоном «баюшки-баю».

Я позволил себе нагло смерить его взглядом.

Через два дня, когда я сидел у себя в квартире и с раздражением вчитывался в «Преступление и наказание», мне позвонил, судя по всему, тот самый мужчина в начищенной обуви и сообщил:

– Вы не являетесь ВИЧ-инфицированным. Мы снимаем вас с учета.

Ни «здравствуйте», ни «до свидания». Хам. В обществе либералов, ориентированных на запад, я привык к другому

обращению.

Но теперь короткие гудки показались мне пунктирной связующей нитью, едва ли не музыкой жизни. Неизвестно почему, мне представилась походка Веры, и я снисходительно потрепал томик Достоевского, украшенный его брадытым анфасом, словно мохнатого барбосика, жарко дышащего тебе в ладонь.

* * *

Не хочу для других делать интриги из того, что перестало составлять интригу для меня. События, произошедшие в течение года, сами по себе не заслуживают того, чтобы их описывать: я ведь пишу не роман событий. Но их, эти самые события, необходимо хотя бы бегло перечислить – для того, чтобы понять, что неожиданно для меня самого стало главной интригой моей жизни.

Прошел какой-нибудь год, и я понял, что заражен гораздо более опасным вирусом, нежели СПИД.

Каким?

Видите ли, у него пока нет названия, и с этой болезнью пока не ставят на учет. А зря.

Но обо всем по порядку.

К кому я пошел с вестью о том, что я полностью здоров?
К Вите?

Я пошел не к Вите, и правильно сделал. Дело в том, что,

как выяснилось несколько позже, в телефонном разговоре, она уже знала, что ее счастливо миновала чаша сия, но даже не соизволила позвонить мне и дать возможность больному человеку порадоваться хотя бы за другого.

К Майке?

Я запланировал звонок ей, чтобы снять груз с ее души. Следующим должен был быть звонок Вите.

Но пошел я к Вере.

– Вера, – сказал я, – представляете, я привык жить без будущего. Вот всего час назад у меня вновь появилось будущее, но не знаю, надо ли мне оно. Каким вы видите свое будущее?

– Не знаю. У меня каждый день расписан по минутам, поэтому мне просто некогда думать о таких пустяках. Если я стану думать о будущем, у меня его не будет. А ваше будущее... Вас что, высылают из страны, и вы, наконец, воссоединитесь со своим поляком? Счастье – в дом?

– Вера, не обижайте меня.

– Извините. В этой странной компании никогда не знаешь, что у нас сегодня является достоинством, а что – пороком. Слишком часто все меняется местами. Значит, вы отправляетесь к своей француженке. Я правильно вас поняла?

– Нет, неправильно. Я совершенно здоров, у меня нет ВИЧ-инфекции, я не голубой, и я, честно говоря, не представляю своего будущего без вас.

Она впервые посмотрела на меня не как на пустое место.

– Как вас зовут, извините?

– Ах, да, я ведь толком даже не представился. Меня зовут Герман, Герман Львович Романов. Филолог. Не диссидент, не привлекался, не хожу в храмы, терпеть не могу темносплетений Бахтина и не обожаю Достоевского. Ни разу в жизни не любил по-настоящему. До недавнего времени... Гм-гм. Все не как у людей.

– Вы революционер наоборот?

– Да нет же! Я человек, который куда-то спешил, потому что у него не было будущего. А теперь... Теперь я даже не знаю, кто я.

– Очень приятно, Герман. Меня зовут Вера. Я обожглась на любви, и теперь не слишком верю словам. Вы уж, пожалуйста, с ними поосторожнее.

– Конечно, Вера. Я очень ответственно отношусь к словам. Но я сказал правду. Ни убавить, ни прибавить.

– Кофе хотите?

– Дайте подумать... Хочу. Можно, я позвоню от вас Майке и Вите?

– Кто такой Витя?

* * *

На следующий день Сеня сказал мне:

– Очень легко жить, если ты заражен СПИДом: жизнь превращается в героическое умирание. К твоим услугам со-

чувствие и внимание окружающих, к твоим услугам проверенные варианты «защиты от жизни», как ты сам изволил выразиться. А вот как быть здоровому и нормальному «аспиду»? Думаю, вскоре тебе опять захочется подцепить какую-нибудь смертельно опасную заразу. Ты развращен привычкой жить без будущего. А для будущего необходимо мужество: либо ты познаешь себя – либо тебя колбасит. Твоя яркая жизнь – пустота. Дело не в СПИДе; дело в том, что ты живешь пустую жизнь. Тебе хоть три жизни дай – что ты с ними будешь делать?

Вот тут я физически почувствовал, как заражаюсь иным, более опасным вирусом, известным легкомысленному человечеству под названием «горе от ума», – вирусом прозрения, передающимся от персоны к персоне. Аномальный Синдром Прозрения Истинно Духовного.

Вскоре я понял, что болезнь эта в редких случаях заразна и неизлечима.

Второй круг мой жизни был до обидного кратким. Вита со второй попытки поступила на филфак (любовь ко мне прошла, но любовь к литературе осталась – в полном соответствии с заморочками древних: *vita brevis est, ars longa*) и благополучно вышла замуж. Я был случайным свидетелем свадебной церемонии. Букет ее руках – пышные хризантемы – напоминал перевернутое платье невесты, поблескивающий снежным напылением колокол. А под платьем – ее ноги, которые я раздвинул первым.

Во рту у меня пересохло, сердце отчего-то сжалось.

Через девять месяцев она, словно назло мне, родила здоровую девочку.

Майка тоже родила. Мальчика. Здорового. От Артема. Возможно, тоже назло мне.

Что я находил во всех этих людях раньше? Мое прозрение все более и более мешало мне жить. Бессознательное копошение народа, страны и человечества я воспринимал как угрозу лично себе. Народ, человечество и Достоевский двигались в одном направлении, а я – в другом. Страна рушилась, но направление моих мыслей при этом менялось независимо от распада империи. Узнал бы Лев Толстой – вот бы удивился.

Я ощущал свое выздоровление как начало неизлечимой болезни.

Цивилизация в своем объективном движении от социализма к персонизму (от психики к сознанию) остановилась на том, что свобода индивидуума (не путать с личностью!) ограничивается верой. Миром правит бессознательная регуляция. Все. Точка. Это не обсуждается.

Дальше цивилизация идти не готова – по объективным причинам. Бесконечно воспроизводится один и тот же тип «гуманных» отношений (классика – Достоевский и Толстой, Лев Николаевич): вера в добро, милосердие и душу человека – с одной стороны; с другой – ненависть к разуму и диалектике – сиречь, ко злу. Козлу.

Вот и от меня все ждут того же: верь, надейся, люби – ибо это лучший (проверено бесчисленное количество раз!) способ не думать. Вариант «не верь, не бойся, не проси» – всего лишь обратная сторона первого.

А я хочу мыслить, чтобы верить, надеяться и любить; плакать, смеяться и ненавидеть – чтобы понимать. Поэтому не люблю Достоевского, великого путаника библейского масштаба.

Одно дело – надежда на то, что ты сможешь укротить имеющий отношение к человеку закон, и совсем другое – надежда на то, что тебе повезет в мире, где нет никакого закона, кроме закона джунглей: кто сильнее – тот и прав. Одно дело вера в свои силы, в свой разум (в себя), и совсем иное – вера в то, что тебе помогут «высшие силы» (во всемогущего и, главное, милосердного Б., чтоб не упоминать его имени всуе). Одно дело любовь как способ проявления своих возможностей – и совсем-совсем другое любовь как способ показать пану Б., что ты хороший, – любовь как способ проявления своей покорности. Как-то ловко сотворили всемирный проект под названием «пусечка, ширмочка Б.»: он и грозно всевидящ – и в то же время счастливо близорук; когда тебе или ему, когда – ну, все равно кому – очень хочется, то его можно держать за придурка, то есть за пана, который, по своей исключительной доброте (нам – пример и наука, однако) любую твою блажь должен принимать на веру, за чистую монету. Я бы на месте Б. был раздосадован, а возможно и –

взбешен.

Не надо говорить мне про «веру, надежду любовь» – надо говорить о личности; не надо говорить мне о стране и народе, о социализме и капитализме – надо говорить о личности.

Вот теперь я по-настоящему был отвержен. Я обнаружил, глупые люди все повально заражены вирусом умодефицита.

Мне удалось найти вакцину от глупости – но взамен я приобрел жизнефобию. Ум и жизнелюбие пока не сочетались.

Но у меня уже была Вера.

Это случилось в самом начале всемирного катаклизма, которому дали невыразительное, какое-то исключительно мирное (и потому издевательское) название – Перестройка...

Все равно, что о всемирном потопе выразиться в том духе, то ваша речка, дескать, немного вышла из берегов.

Книга вторая. Зимний круг или Пучок историй

1. Карканье белой вороны

ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ

**(роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»)**

2

Начнём с последнего абзаца одного из самых «странных» романов в мировой литературе (трудно удержаться от замечания, что все великие произведения – странны, ибо вызывающе не соответствуют аршину общепринятой логики и общих представлений; а ещё потому странны, что внутренне противоречивы). Под подушкой, под головой пострадавшего Родиона Романовича Раскольникова уже лежало Еван-

гелие. «Но тут уж начинается новая история, история постепенного обновления человека, история постепенного перерождения его, **постепенного перехода из одного мира в другой**, знакомства с новой, доселе совершенно неведомою действительностью. Это могло бы составить тему нового рассказа, – но теперешний рассказ **наш** окончен». (Здесь и далее в цитатах жирным шрифтом выделено мной, курсив – автора. – Г.Р.)

Обратим внимание прежде всего на то, что «рассказ», представленный нам, вовсе не безличен, у него, как и у всех «рассказов» в мировой литературе, есть свой творец, в данном случае делегировавший свои полномочия *повествователю* («наш» рассказ). Ни о какой нейтральности, ни о какой беспристрастности и неангажированности повествователя, ни о какой равноправной «диалогичности» не может идти и речи, так как повествователь и не скрывает, что его временно «невменяемый» герой находился в «одном мире», закрытый пока что для диалога с миром иным. Если под диалогом понимать самоценность вступивших в контакт суверенных миров, не сводимых один к другому, то такого диалога в романе нет. Мир Раскольниковова явно и естественно соотносится с миром того же повествователя, причём первый выступает как «низшее» измерение по отношению ко второму, «высшему». Если и говорить о диалогичности иерархически (так или иначе – моноцентрически) устроенного романа, то правильнее было бы говорить о диалоге как моменте моно-

логической, концептуально определённой структуры.

Многоуровневый, многоклеточный мир Л. Толстого своим единством не отменяет автономности микромиров, диалектически взаимосвязанных и производящих впечатление космической упорядоченности.

Мир Достоевского устроен принципиально иначе. Его мир ограничен душой человека, взятой в определённом, «тёмном» или «светлом», качестве. Полярно разбросанные мировоззренческие полюса присутствуют в романе, иначе и не возникло бы энергии конфликта. Однако «светлая», святая душа, «другой» мир обозначены, по большому счёту, как наличие противоположности, как возможность, перспектива или идеал (главным героем такая душа стала в романе «Идиот», персонифицируясь в образе князя Мышкина). Центром мироздания становится душа, догадывающаяся о существовании иного мира, но обитающая в своём, противоположном идеальному, мире. Что это за мир, чем он так притягателен для писателя, и почему так долог или невозможен путь в мир иной?

Мир, непропорционально сведённый к душе человека, позволил многократно увеличить её «тёмные» и «светлые» стороны. При таком подходе к делу логично было бы ограничиться несколькими персонажами, два из которых обязательно должны быть полярными (и, собственно, главными), остальные призваны усиливать и детализировать линию главных. «Двойники» и «двойничество», будучи продуктом

рационального дробления единого комплекса идей (так сказать, идейной Достоевщины), дают вместе с тем уникальные возможности для inferнальных, запредельно-трансцендентальных наитий и «прозрений» (Достоевщины психологической). Именно так с точки зрения логики персонажеобразования и соотношения характеров выстроен роман «Преступление и наказание». Родион Раскольников – это один полюс, Софья Мармеладова – другой (уже по звукам и по семантике – полюса). «Разве могут её убеждения не быть теперь и моими убеждениями? Её чувства, её стремления по крайней мере...» – читаем мы в самом конце эпилога, когда героини находились «в начале своего счастья». Начало «счастья» – начало приобщения к сонечкиным убеждениям. До этого момента были исключительно «несчастья», заблуждения.

Таким образом, природа Раскольникова, без сомнения, главного героя романа, двойственна, что, собственно, является необходимым условием, создающим почву для пронзительных внутренних раздраев. Раскольников – это Соня Мармеладова, в которую вселился (временно, но цепко) бес рациональности и неверия. И эта бестиарность, повторим, есть обязательное условие существования романа, который, по сути, от начала и до конца являет собой картины торжества, бессилия, а затем и изгнания сего беса.

Бесом, понятно, служит всё тот же ум.

– Прочитала? – спросил я у Веры.

– Прочитала. Но ничегошеньки не поняла. Кар-кар-кар... Курлы-мурлы... Как-то громко, отчетливо, но совершенно непонятно. Хотя красиво.

– Оптимистическое чириканье или пессимистическое карканье... Не в трелях дело. Дело в том, что душа чирикает, а разум – каркает. Все просто. Я тебе сейчас объясню. К Достоевскому нельзя подойти без теории, хотя сам он их «как бы» не любил...

Я говорил долго и вдохновенно. Мне нравилось, с каким умилением она меня слушала: она ловила каждую интонацию и отзывалась на любой жест, благо я темпераментно размахивал руками.

– Понятно?

– Нет...

Я был несколько озадачен.

– Хорошо. Подойдем с другой стороны. Не знаю, в каком мире живешь ты, Вера; что касается меня, то я живу в мире, где правда, такая, как я ее понимаю, никогда не восторжествует, истина всегда будет поприана, а человек, увы, – вряд ли достигнет того, чего он заслуживает. Именно поэтому мой долг – быть счастливым, не предавая при этом истину. Только не называй это подвигом; скорее, это оптими-

стический жест отчаяния. У меня нет выбора, мне деваться некуда. Приходится быть счастливым.

– Я люблю тебя, – сказала Вера, целуя меня в краешек губ. – Предложи мне стать твоей женой. Я соглашусь...

– Ты мне не дала договорить. Я именно к тому и вел речь, по всем правилам риторики.

– Ты говорил очень долго. А мне надо коротко и понятно. Мы поженимся?

Дежавю. Кажется, подобное уже было в моей жизни. Нет, двойное дежавю. Нет, тройное. На все мои умные речи она реагировала одинаково: все заканчивалось поцелуями.

До меня вдруг дошло: она следит за тембром, интонациями и жестами, но не за смыслом. Как кошка. Или змея. Гм-гм. Мне почему-то тоже захотелось ее поцеловать, и слезы навернулись на глаза мои.

– Дай подумать... А кекс у нас на свадьбе будет?

– Будет, если захочешь. А свадьба у нас будет или нет?

– Будет. Если будет кекс.

– Ну-ка, рассказывай, при чем здесь кекс? У тебя ничего не бывает просто так.

– Сейчас расскажу. Только сначала поцелую...

2. Стрельба по привязанным зайцам

И у нас была свадьба. В апреле. К удивлению немногочисленных друзей, в основном, с ее стороны, я ел только специально принесенный с собой кекс и запивал его коньяком – обжигающим нектаром, отличавшимся золотистым «нарядным цветом» с крепким коричневым оттенком.

Апрель играл с зимой, будто большая, здоровая и сытая кошка с полудохлой мышкой. Позволит ей глоток ледяной свежести с утра – робко сыпанет редкий мокроватый снежок с затянутого сереньким неба – а к полудню уже балует прогретым весенним ветерком, сошедшим с ума от запахов пробудившейся природы. Солнце в обновленном огненном оперении чувствовало себя уверенно, словно нелепый вождь индейцев, и уже никуда не спешило. Такое впечатление, что оно тоже перезимовало в берложке, как пушистый зверек, и теперь карнавально радуется свободе. Ах, это сладкое слово свобода с привкусом цианистого калия...

Это было еще тощее солнце социализма. Вскоре ему, уже более лохматому и тучному, предстояло всходить и заходить в другой, раскрепощенной стране, населенной теми же самыми людьми, которым хотелось думать, что они стали другими – свободными. Солнце то же, а люди другие. Природа не поспевала за культурой. Где натуре с ее допотопными циклами! Прошла зима, настало лето: спасибо партии за это.

Все под контролем. Теперь партии не стало. Спасибо гвардии новых мучеников за идею иного всеобщего эквивалента – за бабло. Потом гвардии не стало (увы, оторвались от народа – выродились в олигархов). Спасибо всем. Несвободные люди через брюхо служат идее, свободные – только брюху. Назад, в пещеру: это и есть «даешь цивилизацию». Дальше, почему-то, перспектив не видно. Темень какая-то демократическая. Как в заднице. У доброго негра.

Времена настали веселые и лихие, а семью, ячейку общества и одновременно пещеру личности, никто не отмечал. Всем по-прежнему хотелось счастья. Кусочек чего-нибудь личного, независимого от свободы и общества. А ведь счастливая семейная жизнь – это жизнь без сюжета, которая по своей предсказуемости напоминает стрельбу по привязанным зайцам; сюжет появляется только тогда, когда семью начинает лихорадить и она постепенно распадается. Всякая счастливая семья проходит испытание на прочность – переживает несколько периодов распада. Период четвертьраспада, полураспада, распад, спад, ад... Да...

Семья, ячейка и пещера, превращается в ничто. В космическую пыль, скопище отдельных атомов. Может, это нормально? История семьи – история пыли?

С другой стороны, из чего-то возникали и создавались новые семьи – может, из той же пыли, из тех же атомов?

А новое, передовое, потому как капиталистическое, общество – не из той ли пыли вылепилось, в которую превраща-

тилось, старое, социалистическое (возникшее, как известно, на обломках пещерного капитализма)? Ведь другой же пыли, иных атомов, альтернативного вещества же просто нет. Из ничего и будет ничего. Ноль. Всеобщий эквивалент пустоты. Типа «ау-у-у», однако...

Перестройка, перекройка, обновление... Почему-то распад и гибель страны, Союза нерушимого, непременно облекается в звучные названия. Перестройка – это ведь гимновое нечто. Гром среди неба. Практически пертурбация. А началось все так мирно: пере-стройка...

Историческая задача – обновить общество, безнадежно при этом махнув рукой на дремучую, не поддающуюся обновлению природу человека, – решалась без веры в чудеса: кроваво, скоро, хищно и безжалостно.

Это было время историй, историческое время; можно сказать, сама история гуляла напропалую, направляемая тучным бессознательным маленьких людей, сгрудившихся в огромный конгломерат, под кодовым названием народ. Чего-то делили. История – это всегда дележка пирога, когда не хватает даже тем, кто делит, не говоря уже обо всех остальных, которым столько обещано. Что взять с истории, для которой, по мифу, не существует сослагательного наклонения?

По-моему, она только и живет сослагательными наклонениями. Все, что происходит или произошло, могло бы произойти как-нибудь иначе, могло бы и вовсе не происходить. Могло бы не быть. Что толку?

У ничто нет истории; история пустоты – это даже не смешно, ибо нет предмета: над чем смеяться? История о том, как пирог не поделили... Нет, история о том, как два генерала, вышедших из мужиков, пирог не поделили, а мужик при этом остался виноват де юре и в дураках де факто. Это круто.

Под эту историю создали «новую» идеологию: необходимость служить идее была с восторгом отмечена «свободным» служением брюху. Старая, как мир, брюшинная идеология была объявлена новым культурным завоеванием. В новую Конституцию Продвинутого Глубоко в Демократическую Зад... , нет, Ц, в смысле Цивилизацию, Общества пунктом Первым занесли главный параграф (теперь уже славянскими иероглифами, рядом с мантрами на латинице): отныне всякий считающий себя свободным имел право – главное право человека (не путать оно с личностью и быдлом) – не думать. Не хочет, значит, не должен. Главной обязанностью свободного человека (см. пункт Второй Конституции) была объявлена повинность смотреть футбол под чипсы, пиво и прикольную рекламу. В перерывах – попсовый мультик или сериал с любимыми «звездами». Че еще? Плодитесь и размножайтесь. Нормальному человеку больше не надо.

Все. Конец истории. Всем спасибо. Все свободны.

Вот такая история.

И эта история маленьких людей, в гордыне называющих себя «простыми», придумала себе королевскую проблему: роль личности в истории. К сожалению, пока что можно го-

ворить прямо об обратном: роль истории малюсеньких людей в деле уничтожения личности. (Вовсе не обязательно писать это последнее, ласковое слово с большой буквы – все равно до этого феномена не дотянешься: это вам не Марс какой-нибудь. Гм-гм. На всякий случай для суперновой гвардии. Марс – это планета, а не шоколадный батончик скверного качества, употребляемый иногда вместо чипсов теми, кто пьет не пиво, а пепси-колу.)

Сколько истории, сколько блошиных, пардон, брюшинных, историй, вмещавших столько всего доисторического!

Все эти истории как-то впитались в меня, обогащая и корректируя мой духовный состав. При этом я вел напряженный диалог с Достоевским, с большим чувством раскрывшим души всех этих простых или, того жальче, ма-аленьких людей. Отверженных. Униженных и оскорбленных. Обиженных и прибитых. Верящих, вопреки всему, в доброе и светлое начало.

Иначе сказать, людей, живших бессознательной жизнью.

Знал бы Федор Михайлович, кого он прижалел. Мой мир не походил на их мир – и тем хуже было для меня: это я жил в их мире, а не они в моем. Будут ли они когда-нибудь жить в моем мире и вкусят ли прелести сознательного существования – неизвестно. Впрочем, это будет уж совсем другая история.

Месиво историй, из которых и состояло вещество будней, составили третий круг моей жизни. Зимний круг. Эти исто-

рии, хляби и топи, были в буквальном смысле почвой под ногами, по которой я бродил наощупь, проваливаясь и тут же вскарабкиваясь на новую неверную кочку, чтобы в очередной раз соскользнуть с нее в холодную жижу...

При этом я писал свою историю – историю личности.

3. История первая. У народа Берия не вызывал доверия

Звали его Лаврентий (кличка, изготовленная историей, подобралась быстро: разумеется, незабвенный Берия; если уважительно – просто Палыч). Он был закадычным другом Юрия Борисыча, большим поклонником Элеоноры, а впоследствии также и Марго. Можно сказать, шел по следам Учителя. След в след.

Время, само собой, выбрало этих ковбоев своими героями.

Они затеяли хитроумный (то есть весьма простой: шмотки, сигареты – купи-продай) бизнес и задумали преуспеть, ибо кому, как не им, было процветать в этом муравейнике, населенном жалкими тварями. Раз кругом одни дураки – грех не нажиться на их слабоумии. Не превращаться же в одного из них. Логично?

О то ж... Простая арифметика.

Берии, который сначала работал инженером в КБ и подрабатывал таксистом, а потом работал таксистом и подрабатывал инженером, повезло: старший брат его, Одиссей (имя, ставшее кличкой; кличка от клички – Одя), отсидел за убийство изверга-отца, и теперь вышел на свободу, имея в активе двенадцать лет срока, изъеденное временем честолюбие, подточенное здоровье и виды на нефтяной бизнес.

Разумеется, набиравший силу Одя не забыл о родном братце. Время позволяло брать кредиты, и Берии организовали сумасшедший кредит с таким количеством нулей и под такие смешные проценты, что герои наши вознеслись, словно влюбленные на полотнах Шагала, распираемые адреналином и разучившиеся ходить, – воспарили и над куполами церквей, и над крестами могил, и над городом, и над миром. Надо всем, что шевелится.

В одночасье жизнь Лаврентия (Палыча) и Юрия Борисыча круто поменялась. Кому война, а кому мать родна; кому катастрофка, а кому рай, второй этаж ада (скоростной лифт, снующий туда-сюда, вечно перегруженный, к вашим услугам; впрочем, стали появляться и VIP-лифты: мгновенно, бесшумно, всюду благоухание и демоны, в обличье ангелов, под ваши белые ручки с нашим почтением; прогресс не остановить и не ограничить никаким пространством и временем).

Они сняли квартиру (убогую хрущобу для начала – для пробы), зарегистрировали фирму, назвали ее почему-то «Дом Достоевского» (сокращенно «ДД», – «ди-ди», если ласково, или «дабл ди», если необходима солидность) и развернули бурную деятельность. В секретаршах у них стараниями Юрия Борисыча тут же прописалась уже знакомая нам Вика из совкового прошлого, из 11 «Б», у которой была тьма подруг, желающих немало – и немедленно! – зарабатывать, но не желавших много работать. Сама Вика по квалифика-

ции и роду одаренности проявила себя как гений по оказанию массы мелких, но удивительно приятных услуг. Такие услуги оказывала!

Юрий Борисыч, наконец-то, понял, для чего он был рожден на свет божий: чтобы жадно наслаждаться чувством презрения ко всей этой копошащейся вокруг мелюзге с рабской психологией, вкалывающей со страху за жалкие пять-десять долларов в месяц. Он где-то в глубине души даже трогательно любил весь этот снующий, находящийся в броуновском движении животный мир (флору и фауну, если по-научному), ибо благодаря ему упивался оборотной стороной чувства презрения – чувством превосходства, процентов на 90 состоящим из чувства свободы.

Комплекс императора: теперь он не понаслышке знал, что это такое. Хочу казнь, хочу милую. Впрочем, милую Вику он хотел всегда.

А бизнес творился до смешного легко (отсюда и презрение ко всем, кто не сумел «просечь» этот механизм): купил – привез – продал – купил – привез – продал – купил – привез – продал. До скучного легко. Однообразно. При малейшем сбое в отлаженной цепи компаньоны, Палыч и Борисыч, набирали мобильный (мобильное время породило мобильные телефоны) Одика. А тот с несговорчивыми оппонентами умел считать только до трех. Был нервным. Проблемы решались как по волшебству. Думать об укреплении и разрастании бизнеса, то есть о презренной работе, которую наемные

холуи знакомых братков называли креативом, не хотелось: душа стремилась к полету.

Вещества, которым питалась свобода, а именно: денежных знаков, на которых были изображены важные пацаны, тоже президенты, – было в избытке. Стали строить загородные дома, каждому по коттеджу. Недалеко от Минска. В роще. Возле воды. Рай. Престижнее не бывает.

Мало.

Съездили за границу, побывали в Париже, заглянули на праздник пива в Германию. Эйфелева башня показалась прикольной (хотя могла бы быть и повыше), в Германии без языка – не фонтан, даже на фэсте.

Скучно.

Однажды утром им позвонили с незнакомого мобильного: сообщили, что могучего Одиссея убили злые люди. Вот взяли просто так – и убили. На ровном месте. Ни за что ни про что. Суки, а не люди. Берия обезумел. Следующая партия товара им уже не пришла, кредит вернуть они были не в состоянии, Вика стала посматривать в сторону конкурентов (к сожалению, еще одна грань ее разносторонней гениальности: умение держать нос по ветру; талантливый человек талантлив во всем).

Вчера еще незыблемая почва под ногами заходила ходуном. Вероломный Берия почему-то во всем обвинил Юрия Борисыча. Завязалась вендетта: бесконечные разборки, дележ имущества, взаимные претензии; дело дошло до прямых

угроз.

Победителем, к несчастью, оказался Юрий Борисыч. По странному стечению обстоятельств, труп Берии отыскал пенсионер по фамилии Кох, выгуливавший собаку по кличке Баски. Подозрение, разумеется, пало на Юрия Борисыча. Все шло по классическому варианту: мотивчик, как говорится, налицо, перепуганный подозреваемый на месте; значит, вскоре объявится и обвиняемый.

Но гримасы иронически оскалившейся судьбы на этом не прекратились. Следователем по делу фирмы «ДД» был назначен добрый знакомый Учителя, его ученик и, не исключено, тайный поклонник Пенициллин. Пеня, он же Вениамин Петрович, встретил Учителя радушно, дал ему закурить (у Юрия Борисовича расшалились нервишки, и малодушные руки сами потянулись к отвратительным сигаретам, которые он импортировал под элитными марками), поднес зажигалочку и сочувственно произнес:

– Ну-с, говорить будем? Как известно, за преступлением неотвратимо следует наказание. Так, кажется, вы нас учили вслед за Достоевским?

– Пеня...

– Вениамин Петрович, гражданин Щеглов.

– Вениамин Петрович... Я думаю, мы договоримся.

– Возможно, Юрий Борисыч. Мы детально обсудим эту тему. Интересно, удалось ли вам сохранить тот изумительный кед, точнее, расплюснутую резиновую дубинку, кото-

рой врачевали наши заблудшие души?

Изумлению Юрия Борисыча не было границ. Преступление, наказание, любит, не любит, поцелует, плюнет, добро, там, зло – это понятно. В жизни всякое бывает. Но не до такой же степени!

Тут мы и оставим наших героев (ненадолго), сверлящих друг друга по всем правилам буравчика взглядами, почти не скрывавшими яд немых укоров, а то и угроз.

ЖИЗНЬ ВМЕСТО ДИАЛЕКТИКИ

**(роман Ф.М. Достоевского
«Преступление и наказание»)**

3

Итак, Раскольников и не подозревал, что весь его тернисто-тёмный путь ведёт в мир светлый. Но повествователь знал это с самого начала, и ни на градус не уклонялся от избранного выверенного маршрута. «Как бы» импровизационность и непредсказуемость поведения постоянно находившегося на грани душевного срыва Раскольникова (в романе более пятисот раз употреблено роковое «вдруг», что отра-

жает «странную» спонтанную логику действия героев) на самом деле жестко предопределена мировоззренческими императивами повествователя. Роман, состоящий из шести частей с эпилогом (что в сумме составляет неслучайное число семь), начинается весьма и весьма многозначительно: «В начале июля (седьмого месяца года – Г.Р.), в чрезвычайно жаркое время, под вечер (где-то в районе семи, в тот час, когда, спустя сутки-другие, будет совершено преступление – Г.Р.), один молодой человек вышел из своей каморки, которую нанимал от жильцов в С-м переулке, на улицу и медленно, как бы в нерешимости, отправился к К-ну мосту».

С самого начала читателя окунают в раскалённое пекло, своеобразную модель ада, причудливо сдабривая действие мистикой библейских чисел, не вполне ясной, но зато вполне «реально» влияющей на происходящее. Двойное отражение реальности, отражение отражения, о котором мы говорили в связи с достоевщиной, с самого начала пронизывает образную ткань произведения, сообщая нервную напряжённость всему стилю, в том числе ритму и синтаксису повествования. «**Как бы** в нерешимости», впавший «как бы в глубокую задумчивость, даже, вернее сказать, **как бы какое-то** забытьё», «**чувствуя какое-то** болезненное и трусливое **ощущение**, которого стыдился и от которого морщился», молодой человек, ещё не определивший для себя, решил он на «это» или нет, ступил из своей каморки, похожей на гроб, в адскую жизнь.

Если добавить к сказанному, что молодой человек «и сам сознавал, что мысли его порою мешаются и что он очень слаб: второй день, как уж он почти совсем ничего не ел» и что в таком состоянии он, обуреваемый «безобразною» мечтой, которую «**как-то** даже поневоле привык считать уже предприятием, хотя всё ещё сам себе не верил», шёл «делать *пробу*» «*этому*» (идти было «ровно семьсот тридцать» шагов), «и с каждым шагом волнение его возрастало всё сильнее и сильнее» – если попытаться все упомянутые обстоятельства принять во внимание, то можно составить себе представление о типе художественности произведения.

«Мечта» неотличима от «предприятия», всё зыбко, неопределённо, неоднозначно, и когда оно как бы есть, то неясно, есть ли оно или, напротив, ничего такого и в помине не было. То ли мерещится, то ли пророчески бредится, будто бы явь, а может быть, как бы сон – вот лучшая почва и питательная среда для перетекания бессознательного в полусознательное и, далее, в как бы осознанное, от которого всего-то один маленький шаг до исходного великого «немого» – океана бессознательного. Балансировка на грани ирреального, впечатление полуяви, дьявольски скользкой амбивалентности – вот чего добивается и достигает повествователь для того, чтобы его «рассказ» отразил больше, чем реальность, а именно: реальность ирреальной природы человека. Писатель вуалирует контртезис подтекста: грубо отразить реальность такой, какова она есть, это и значит исказить

её. А вот размывая её полутонами – получаешь некоторое представление о реальности...

О реальности чего, спросим мы, вспомнив о стоящей перед нами задаче научного познания романа?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.